SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы — профессия.

- А. Н. Анненская
  -
  - Введение
    -
  - ГЛАВА I
    -
  - ГЛАВА II
    -
  - ГЛАВА III
    -
  - ГЛАВА IV
    -
  - ГЛАВА V
    -
  - ГЛАВА VI
    -
  - ГЛАВА VII
    -
  - ГЛАВА VIII
    -
  - ГЛАВА IX
    -
  - ГЛАВА X
    -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

А. Н. Анненская
ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС. ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Портрет Диккенса, гравированный в Лейпциге Геданом

Введение

С конца XVII века роман является в Англии одной из наиболее распространенных и наиболее любимых форм художественной литературы. Своим «Робинзоном Крузо» Дефо открыл целый ряд всевозможных робинзонад, описаний более или менее правдоподобных похождений разных героев в далеких и малоисследованных странах; Свифт облек в форму романа свою едкую сатиру на весь строй современной ему жизни; Ричардсон перенес роман в сферу семейных отношений и заставил всю читающую Англию плакать над несчастьями Клариссы; Филдинг и в особенности Смоллетт давали в своих произведениях живые, реалистические описания действительной жизни и создавали характеры, полные неподдельного комизма; Стерн умел счастливо соединить юмор с сентиментальностью, а Голдсмит со своим «Векфилдским священником» занял почетное место в литературе не только Англии, но и всей Европы. Романтическое направление, охватившее Европу в первой половине XIX века, нашло отголосок и среди романистов Англии. Анна Рэтклиф наводила на нервных людей трепет своими «Удольфскими тайнами», последователи ее громоздили в своих произведениях ужасы на ужасах, и, наконец, Вальтер Скотт создал исторический роман, в котором романтизм является без болезненных преувеличений, ограниченный трезвым умом и художественным чутьем, никогда не уносящийся за пределы реально возможного. Как все великие писатели, Вальтер Скотт имел множество последователей, и в первой половине девятнадцатого столетия масса исторических и этнографических романов наводнила Англию. Роман семейный, психологический, изображающий нравы и быт современной эпохи, современного общества, отступил на задний план. Чтобы снова вернуть ему симпатии читателей, за него должна была взяться рука талантливого мастера. Таким мастером явился Чарлз Диккенс.

Диккенс смело может быть назван самым популярным романистом не только Англии, но и всего мира. Больше двадцати лет прошло со времени его смерти и около шестидесяти — со времени появления его первого литературного произведения, а романы и повести его до сих пор составляют одно из любимейших чтений не только там, где господствует английский язык: в Великобритании, Североамериканских Штатах, Австралии, Ост-Индии, — но и во всех цивилизованных странах. Писатель вполне национальный — в том смысле, что все созданные им лица — англичане до мозга костей, англичане во всех своих

добрых и дурных свойствах, — Диккенс умел в то же время затронуть общечеловеческие струны, создать общечеловеческие типы; его герои понятны, близки не только его соплеменникам, но и нам, русским, и французам, и итальянцам; интеллигентный читатель восхищается тонкой художественной отделкой его произведений, полуграмотный лондонский пролетарий зачитывается его романами, ненавидит злодеев, выставленных им, умиляется над его добродетельными героями.

Две основные черты характеризуют все произведения Диккенса и обусловливают их громадную популярность. Это, во-первых, его юмор, — неподражаемый, добродушный юмор, с которым он подходит ко всем явлениям в жизни. Юмор этот в редких случаях переходит в сатиру на общие государственные или общественные учреждения, но гораздо чаще останавливается на изображении отдельных личностей или отдельных пороков, наиболее распространенных в английском обществе. В этом отношении Диккенс имеет много общего с нашим Гоголем. Как Гоголь, на первый взгляд, изображал только отдельные личности, не касаясь общего строя жизни, и в то же время сумел придать своим собакевичам, маниловым, сквозник-дмухановским и прочим типичные черты данной эпохи, данного общества, так что мы видим в его произведениях полную картину дореформенной России, так и Диккенс в своих домби, пекснифах, подснепах дает нам чисто личные типы, — а между тем благодаря этим типам перед нами развертывается скрытая от поверхностного наблюдателя неказистая сторона жизни английского общества с его эгоизмом, самодовольством, лицемерным ханжеством.

Галерея юмористических портретов, представленных Диккенсом, поражает своей обширностью и разнообразием. Мы находим в ней людей всех классов общества, начиная с чванного лорда и гордой неприступной леди и кончая несчастным бездомным бродягой. Но юмор автора изощряется преимущественно над картинами жизни среднего сословия, богатой буржуазии. Аристократы редко появляются в его романах, в жизни бедняков он склонен отмечать скорее патетические, чем комические элементы; но самодовольный, самоуверенный буржуа, с высоты своего денежного мешка презрительно взирающий на окружающий мир, находит в Диккенсе неподкупного обличителя, мастерской рукой срывающего с него все мишурные блестки лицемерной добродетели.

Вторая черта, отличающая произведения Диккенса, — это глубокая гуманность, можно сказать нежность, с какой он относится ко всему слабому, малому, обиженному судьбой или

людьми. Мы встречаем в его романах целый ряд невидных, часто комичных личностей, одаренных чутким, самоотверженным сердцем, скромных героев повседневной жизни; он, не скрывая, выставил напоказ все их слабые, смешные стороны и в то же время сумел заставить нас сочувствовать им, любить их, любить тем сильнее, чем больше мы смеемся над их странностями. В сердцах тружеников, придавленных нуждой, вечно голодных пролетариев, грязных обитателей лондонских трущоб он сумел найти такие сокровища любви, терпения, человечности, что читатель невольно проникается симпатией к ним и вместе с автором охотно прощает им всю житейскую грязь, густым слоем заволакивающую эти сокровища.

Некоторые строгие критики упрекали Диккенса в отсутствии объективности, в слишком страстном отношении к создаваемым им образам. Упрек этот вполне справедлив. Действительно, Диккенс не может спокойно и равнодушно относиться к своим героям, как к художественно созданным типам. Для него это люди, реальные существа, которых он или оплакивает горькими слезами, или осмеивает громким хохотом в тиши своего рабочего кабинета. Заканчивая писать большой роман, он тоскует, что должен расстаться с его действующими лицами, должен оторваться от их жизни. Такое отношение к созданиям собственной фантазии имеет, несомненно, и слабую сторону: спускаясь с высот бесстрастного созерцания, художник увлекается чувством и, сам того не замечая, сгущает темные краски при изображении одних лиц, окружает светлым ореолом любви другие. Но этот недостаток с избытком вознаграждается тем впечатлением, какое глубоко чувствующий, страстно увлекающийся автор производит на читателя. Прежде чем этот читатель подметит легкую черту шаржа, он уже побежден неподдельным чувством автора, он любит, ненавидит, плачет и смеется вместе с ним, вместе с ним презирает ложь, низость, эгоизм, высокомерие, вместе с ним преклоняется перед идеалом добра, правды, любви.

ГЛАВА I

Счастливое детство. — Наблюдательность и фантазия. — Перемена жизни. — Тяжелые испытания. — Долговая тюрьма и мастерская

Чарлз Диккенс родился 7 февраля 1812 года в Портси, предместье Портсмута, где его отец служил мелким чиновником морского министерства. Мальчику было всего два года, когда его семья переселилась сначала в Лондон, а вскоре после того в Чатэм; между тем он ясно помнил садик, окружавший их дом в Портси, помнил, как гулял по этому садику за руку со своей старшей сестрой Фанни, помнил площадь, на которой любовался ученьем солдат, помнил, что из Портси им пришлось уезжать в холодный день в снежную метель.

В Чатэме Диккенсы прожили шесть лет, и это было время счастливого детства Чарлза. От природы слабый, хилый ребенок, часто страдавший нервными припадками, он не любил шумных детских игр и редко принимал в них участие. Но, может быть, именно благодаря этой физической слабости полнее развивалась его врожденная наблюдательность, его творческая фантазия. Он целыми часами сидел на одном месте и следил внимательными глазами за играми товарищей, за военными упражнениями солдат, за всеми проходившими и проезжавшими мимо дома. Выучившись очень рано грамоте, он пристрастился к книгам и стал с жадностью читать и перечитывать небольшую библиотеку своего отца. «Родерик Рандом», «Векфилдский священник», «Дон Кихот», «Жиль Блаз», «Робинзон Крузо», «Тысяча и одна ночь», описания путешествий населили голову ребенка массой живых образов. Он увлекался своими героями, переносился в их жизнь, попеременно воображая себя то Робинзоном Крузо на необитаемом острове, то храбрым английским капитаном, то могущественным султаном, то нежным любовником.

Вся окружающая местность: кладбище, соседняя церковь, трактир — все это связывалось в его воображении с приключениями того или другого героя. Пока прочие дети бегали и резвились, Чарлз жил своей собственной внутренней жизнью и находил в этой жизни нескончаемый источник наслаждений. Мечтательность не делала его, однако, угрюмым и нелюдимым. Он всегда был рад, когда сестра или товарищи просили его рассказать им что-нибудь; он с увлечением передавал

прочитанные истории и часто прибавлял к ним создания своей собственной фантазии. Диккенсу было лет пять-шесть, когда один молодой родственник сводил его в театр, и он до конца жизни не мог забыть, какое сильное впечатление произвели на него в то время «Ричард III» и «Макбет». Под влиянием театра маленький Чарлз и сам написал трагедию — «Мисмар — индейский султан» — и с увлечением разыгрывал ее вместе с товарищами.

Чарлзу исполнилось девять лет, когда его отцу пришлось оставить Чатэм и перебраться с семьей в Лондон. С этим переселением кончилось для мальчика время беззаботного детства, началась жизнь, полная невзгод и лишений. Отец его был человек добрый, нежно любивший семью и старавшийся добросовестно исполнять всякое дело, за какое брался, — но в то же время легкомысленный, нерасчетливый в денежных делах, привыкший жить на широкую ногу и не отказывать себе в разных прихотях. При переезде в Лондон у него было шестеро детей; жалованья, получаемого им, могло хватить на содержание такой большой семьи только при крайней бережливости и расчетливости, — а к этой расчетливости мистер Диккенс был совершенно не способен. Он еще раньше прожил небольшой капитал, оставленный ему отцом, и приданое жены, теперь ему пришлось прибегнуть к займам. Чтобы уплатить одному кредитору, он занимал у другого под большие проценты и запутывался все больше и больше. Семья поселилась в маленькой квартирке одного из бедных предместий Лондона. Тут не было ни сада, ни площадки, на которой дети могли бы свободно играть с товарищами; запертые в тесных комнатах, они поневоле были свидетелями всего, что делали и говорили родители. Слова «вексель», «отсрочка», «сделка» наполняли ужасом сердце маленького Чарлза, принимали в его воображении вид каких-то фантастических чудовищ. О воспитании его никто не заботился. Родителям было не до того. В Чатэме он посещал небольшую частную школу и считался одним из лучших учеников; здесь его старшую сестру Фанни отдали в музыкальную академию, а он оставался дома без всякого призора, чистил сапоги, исполнял мелкие домашние работы, присматривал за младшими детьми.

Чтобы помочь мужу, миссис Диккенс решила открыть учебное заведение с пансионом для детей. Недлинная история этого предприятия описана Диккенсом в его «Дэвиде Копперфилде». Подобно мистеру Микоберу, мистер Диккенс был убежден, что дело его жены пойдет великолепно и поправит денежные обстоятельства семьи. Наняли целый дом, на дверях прибили большую вывеску. Чарлз разносил в разные дома объявления, в которых красноречиво перечислялись достоинства нового

учебного заведения, но — увы! Никто не выразил желания поручить своего ребенка попечению миссис Диккенс, да и в самом «учебном заведении» не делалось никаких серьезных приготовлений к приему учеников.

Между тем кредиторы становились все назойливее: булочники, мясники грубо требовали уплаты по счетам, и дело кончилось тем, что мистер Диккенс был признан несостоятельным должником, арестован и посажен в тюрьму Маршальси. Мы имеем яркое описание этой тюрьмы в двух романах Диккенса: в «Дэвиде Копперфилде» и в «Крошке Доррит». Все те живые фигуры тюремных жителей, все трогательные и юмористические сцены под сводами мрачного здания, которыми мы восхищаемся в этих романах, волновали душу ребенка, запечатлевались в ней неизгладимыми чертами.

Попав в тюрьму, мистер Диккенс, естественно, лишился всякого кредита, и единственным средством жизни семьи осталась небольшая пенсия, которую он получал, потеряв место на службе. Так как этой пенсии не хватало на удовлетворение первых потребностей, то приходилось продавать и закладывать разные домашние вещи. Все сделки со старьевщиками и закладчиками мать по большей части поручала Чарлзу. Слабенький робкий ребенок должен был ходить по грязным лавчонкам, выпрашивать несколько лишних пенсов у грубых хитрых торгашей, которых он впоследствии так живо изобразил в своих романах. Никто не подозревал, какой горечью наполняло это его детское сердце, с какой завистью поглядывал он на своих сверстников, бежавших в школы: они учились, они могли стать образованными людьми, для него же это было недосягаемым счастьем. Ему, конечно, и в голову не приходило, что он также учится, что те уроки, которые дает ему суровая действительность, окажутся, может быть, плодотворнее для его деятельности, чем всякое школьное обучение. Основной чертой произведений Диккенса является его сочувственное отношение к униженным, обездоленным, страдающим. Это не снисходительное сострадание гуманного мыслителя, это горячее сочувствие любящего человека, и кто знает, зародилось ли бы в душе его это сочувствие, если бы ему не пришлось быть свидетелем бесчисленных сцен незаслуженного унижения, безропотного горя, безысходной нищеты в тех грязных переулках Лондона, где он начал жить сознательной жизнью; если бы сам он не испытал отчасти и этих унижений, и этого горя, и этой нищеты. Впечатления детства оставляют в душе человека наиболее яркие, наиболее прочные следы, и впечатления бедного маленького Чарлза не изгладились до конца жизни великого романиста, постоянно давая ему

возможность пробуждать в сердцах читателей те чувства гуманности и любви, которые наполняли его собственное сердце.

Вскоре Чарлзу пришлось перенести еще более тяжелые испытания. Тот самый родственник, который возбудил в нем страсть к театру, стал пайщиком в одном промышленном предприятии по выделке и продаже ваксы. Видя нищету Диккенсов, он предложил взять к себе в работники Чарлза с платой по шесть шиллингов в неделю. «Я удивляюсь, — рассказывал много лет спустя Диккенс, — как это никто не сжалился надо мной, хотя все признавали, что я мальчик способный, впечатлительный, живо чувствовавший всякое физическое или нравственное оскорбление. Отец и мама так обрадовались моему поступлению к Джорджу Ламберту, точно я в двадцать лет окончил с отличием курс грамматической школы и перехожу в Кембриджский университет».

Дом, в котором помещался склад ваксы, был грязным, ветхим зданием, переполненным крысами, которые возились на чердаке и с шумом бегали по лестницам. Чарлз должен был работать в сыром подвальном этаже вместе с двумя другими мальчиками и несколькими взрослыми рабочими. Обязанность его состояла в том, чтобы навертывать бумажки на банки с ваксой и наклеивать на них ярлыки. Дело это было нетрудное, но очень скучное из-за своего однообразия. На Диккенса и оно, и та грязная обстановка, то общество грубых, необразованных товарищей, в котором ему приходилось проводить время, действовали угнетающим образом.

«Никакими словами нельзя передать, — говорит он в своих записках, — тайное страдание души моей, когда я очутился в этой обстановке, когда я сравнивал своих тогдашних товарищей с товарищами счастливых лет моего первого детства; когда я чувствовал, что все мои надежды стать образованным и знаменитым человеком уничтожаются навсегда. Я не могу высказать, как живо помню овладевшее мной чувство заброшенности, беспомощности, стыда за свое положение, страдания от сознания, что все, чему я учился, о чем думал, чем наслаждался, все, что развивало мою фантазию и мое честолюбие, — все отнято у меня и не возвратится мне никогда более. Чувство горя и унижения так глубоко запало в мою душу, что даже теперь, когда я пользуюсь известностью, любовью и счастьем, я часто во сне забываю, что у меня есть любимая жена и дети, что я взрослый человек, и с ужасом вижу себя снова в тот тяжелый период своей жизни».

Денежные дела Диккенсов не поправлялись, и г-же Диккенс с младшими детьми пришлось перебраться к мужу в тюрьму. Чарлза поместили на квартиру к одной бедной женщине,

державшей пансионеров и послужившей впоследствии прототипом миссис Пипчинс в «Домби и сыне». Питаться мальчик должен был всю неделю сам на свой заработок, а воскресенье он проводил в тюрьме с семьей.

«На завтрак я покупал себе, — рассказывает Диккенс, — маленький хлебец и молока на пенни; другой такой же хлебец и четверть фунта сыру лежали у меня в шкафу для ужина. Я был еще так мал и неразумен, что часто не мог противостоять искушению сладкими пирожками, выставленными в окнах кондитерских, и тратил на них деньги, назначенные на обед. Тогда мне приходилось вместо обеда довольствоваться маленькой булочкой или куском пудинга. Нам давали каждый день полчаса отдыха для чая. Когда у меня были деньги, я ходил в кафе и выпивал кружку кофе с бутербродом; когда у меня не было денег, я бродил по Ковент-Гарденскому рынку и засматривался на ананасы. Я уверен, что ни сознательно, ни бессознательно нисколько не преувеличиваю свое тяжелое положение. Я помню, что когда кто-нибудь дарил мне шиллинг, я немедленно тратил его на обед или на чай; я был бедно одет, работал с утра до ночи с простыми рабочими, ел плохо и мало и часто голодный бродил по улицам. Целую неделю не слышал я ни от кого ни слова совета, предостережения или утешения, ни в ком не видел поддержки или ободрения; только Бог спас меня, что я не стал воришкой или маленьким бродягой».

В душе ребенка таились силы, неосознаваемые им самим, силы, которые поддерживали его в нравственном отношении. Он страдал молча, никому не показывая, что происходило в его сердце, и в то же время работал самым усердным, добросовестным образом, чтобы не подвергнуться унижению выговоров или насмешек. Этот полуголодный, робкий, нищенски одетый ребенок так отличался своим обращением и манерой говорить от остальных рабочих, сидевших в одной с ним комнате, что все они, по какому-то молчаливому соглашению, называли его обыкновенно «маленький джентльмен».

Особенно огорчало Диккенса то, что он был разлучен с родителями, семьей, что после целого дня работы он не видел родного, приветливого лица. Однажды в воскресенье, прощаясь с отцом на целую неделю, мальчик не выдержал и голосом, прерывающимся от рыданий, высказал все, что накопилось у него на душе. Мистер Диккенс был поражен. По легкомыслию своему он и не подозревал, как плохо живется мальчику. Он немедленно принял меры, чтобы облегчить его положение. Решено было, что Чарлз будет каждый день завтракать и ужинать с семьей, а для ночлега ему наняли крошечную мансарду в одной добродушной

семье, впоследствии изображенной им под именем семейства Гарланд в «Лавке древностей». Должно быть, тяжела была жизнь ребенка, если он счел для себя за счастье проводить каждый день несколько часов в тюрьме и спать на полу на чердаке, из окошечка которого открывался вид на дровяной двор!

Диккенсу было в то время лет одиннадцать-двенадцать, но он оставался таким маленьким и хилым на вид, что казался гораздо моложе. Когда он заходил в пивные и важно спрашивал кружку эля, продавцы с состраданием поглядывали на него и наливали ему самого слабого пива, а когда по случаю какого-то торжества он вздумал отобедать в большом ресторане, все лакеи собрались смотреть на крошечного джентльмена. Болезненные припадки, мучившие его в раннем детстве, продолжали повторяться время от времени. Диккенс помнил, как за ним ухаживали рабочие, когда он заболел на складе ваксы, и как перепугались его хозяева, когда у него однажды ночью случился припадок страшной нервной боли в боку.

Несмотря на неблагоприятную обстановку, наблюдательность и фантазия его не погибали. Все улицы и переулки, по которым он проходил, запечатлялись в уме его с самыми мельчайшими подробностями, множество лиц, с которыми он встречался, воскресли с поразительной жизненностью в его романах. Мать рассказывала ему истории из жизни разных обитателей долговой тюрьмы, а он своим воображением дополнял и разукрашивал эти рассказы. Часто по утрам ему приходилось ждать около тюрьмы, пока отворят ворота; с ним вместе ждала молоденькая поденщица, приходившая помогать его матери в домашних работах, и он все время занимал ее разными фантастическими рассказами собственного сочинения. У него не было времени на чтение, не было денег на покупку книг, но во время работ на складе ваксы он часто вспоминал романы, прочитанные им в более счастливые годы, и рассказывал их рабочим.

Такая тяжелая жизнь мальчика продолжалась года три, как вдруг отец его неожиданно получил небольшое наследство. Это дало ему возможность расплатиться с долгами и выйти из тюрьмы. Ему показалось унизительным, что сын его работает как простой рабочий, он взял Чарлза из мастерской и поместил его в школу. В доме Диккенсов старались никогда не упоминать об этих годах, считавшихся позорными для семьи, и сам романист много лет спустя не рассказывал о них даже своим ближайшим друзьям.

«Я опустил завесу на этот период моей жизни, — пишет он в своих записках, — и до сих пор не поднимал ее ни для кого, даже для жены. Пока все соседние улицы не были перестроены, у меня

не хватало мужества сходить посмотреть на то место, где я жил жалким поденщиком. Много лет спустя, когда мне случалось бывать около магазина ваксы Уоррена, я переходил на другую сторону улицы, чтобы не слышать запаха, напоминавшего мне мое прошлое. Когда мой старший сын уже умел говорить, я все еще не мог без слез пройти по переулку, которым, бывало, ходил из склада домой».

ГЛАВА II

Школа. — Стенография и репортерство. — Начало литературной деятельности. — Женитьба. — «Записки Пиквикского клуба»

Два года провел Диккенс в школе мистера Джонса, носившей громкое название «Классическая и коммерческая академия Вашингтонхауз». Трудно предположить, что эти два года много дали ему в смысле научного развития, тем более что начальник школы был человеком малообразованным, преподавание велось рутинным способом, дисциплина поддерживалась посредством побоев и телесных наказаний. Пребывание в школе имело для мальчика хорошую сторону потому, что вернуло его в общество сверстников, уничтожило мучившее его чувство приниженности и возбудило в нем сознание собственных умственных сил. С изменившимися обстоятельствами поправилось и его здоровье. Товарищи по школе вспоминают о нем как о веселом, даже шаловливом мальчике, охотно участвовавшем во всех школьных шалостях и проделках. Он вместе со своими одноклассниками воспитывал белых мышей в пюпитре, дразнил старых леди, прикидываясь нищим и выпрашивая у них милостыню, выдумывал особенный язык «lingo», разыгрывал драматические сцены и маленькие комедии в зале школы. Благодаря хорошим способностям и прилежанию он не отставал в ученье от своих сверстников, и никто из них не подозревал, как шла его жизнь в предшествующие годы. В «академии», так же как в тюрьме, как в бедных лавчонках и грязных переулках, наблюдательность не покидала Диккенса: он до тонкости узнал жизнь школы и школьников и мог впоследствии воспроизвести в своих романах все ее полугрустные, полусмешные эпизоды.

Наследство, полученное отцом Диккенса, было скоро прожито. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, он занял место репортера в одной небольшой газетке. Пятнадцатилетнему Чарлзу пришлось оставить школу и снова начать зарабатывать свой хлеб. Его определили младшим клерком (писцом) к стряпчему на жалованье тринадцать с половиной шиллингов в неделю. Опять приходилось ему проводить целые дни за неприятной работой, в обществе разных конторщиков, юмористические фигуры которых населили впоследствии его произведения. Снова рушились его надежды стать человеком

образованным и сколько-нибудь подняться по общественной лестнице, опять видел он в перспективе долгие годы скучной работы, скудного заработка, серой, однообразной жизни. Но на этот раз будущий романист не покорился своей участи с безропотностью ребенка. Он решил собственными усилиями выбиться из тяжелых обстоятельств, завоевать более счастливое положение. Чтобы восполнить пробелы своего образования, он стал аккуратно каждый день проводить несколько часов за чтением в библиотеке Британского музея, а для увеличения своих материальных средств задумал сделаться, по примеру отца, репортером и выучиться стенографии. В «Дэвиде Копперфидде» мы имеем яркое описание того, с каким трудом давалось ему изучение этого искусства. Но юноша не унывал; все немногие минуты, свободные от других занятий, отдавал он учебнику стенографии и достиг того, что года через два-три сделался одним из лучших стенографов Лондона. Долго не удавалось ему получить места в галерее парламента в качестве репортера какой-нибудь политической газеты. Он должен был ограничиваться составлением судебных отчетов. Работа эта была непостоянная, оплачивалась скудно, и Диккенс задумал попробовать свои силы на другом поприще. Он стал готовиться к сцене, ходил в театры, когда там играли хорошие актеры, а дома, запершись у себя в комнате, упражнялся по нескольку часов сряду в чтении ролей и в разных мимических движениях. Наконец, когда ему показалось, что он достаточно подготовился, он обратился к содержателю одного из лондонских театров, Бартлею, с просьбой принять его на сцену. Бартлей назначил ему испытание через две недели. С неописуемым волнением готовился Диккенс к этому испытанию, но — увы! Накануне назначенного дня он простудился, у него сделалась рожа на лице и воспаление уха! Пришлось отложить испытание до следующего сезона. Между тем маленькая газетка «True Sun» предложила ему место стенографа, и таким образом он получил доступ в галерею парламента, а несколько месяцев спустя был зачислен в число репортеров большой ежедневной газеты «Morning Chronicle». Эта новая должность отнимала столько времени и оплачивалась так хорошо, что Диккенс отказался от мечты о театре.

Вот как сам он описывал свою жизнь репортера много лет спустя на одном обеде в обществе литературного фонда. «Я начал свою репортерскую деятельность при обстоятельствах, о которых многие из здесь присутствующих собратьев моих не имеют ни малейшего представления. Часто, восстанавливая для печати стенографические записки важных политических речей, при передаче которых требовалась величайшая аккуратность, где

малейшая ошибка могла совершенно скомпрометировать молодого репортера, я должен был держать бумагу на ладони руки и писать при скудном свете фонаря, в почтовой карете, мчавшейся с изумительной по тому времени быстротой — пятнадцать миль в час. Помню, как мне пришлось в Эксетере записывать предвыборную речь Джона Рассела во дворе замка, среди неистовых криков всех местных шалопаев и под таким проливным дождем, что двое из моих товарищей добродушно держали носовой платок над моей записной книжкой, точно балдахин при религиозной процессии. Я протер себе колени, сидя на задней скамейке в старой галерее старой нижней палаты; я отбил себе ноги, стоя в старой палате лордов за нелепой загородкой, куда нас загоняли точно стадо овец, в ожидании, пока председатель займет свое место. Возвращаясь в Лондон, в нетерпеливо ожидавшую меня редакцию, с оживленных митингов из провинции, я, кажется, перепробовал все возможные экипажи, известные в стране. Сколько раз приходилось мне поздней ночью останавливаться милях в сорока-пятидесяти от Лондона, среди грязной проселочной дороги из-за того, что лошади не могли двигаться от усталости или колесо свалилось и извозчик оказывался пьяным! А между тем я до сих пор помню, как много привлекательного было в моей тогдашней работе! Сама быстрота и точность, с какой я должен был исполнять ее, доставляли мне истинное наслаждение».

Кроме того, необходимость частых передвижений, знакомство с разнообразными местностями, со множеством лиц всех слоев общества доставляли удовольствие молодому человеку, давали новую пищу его наблюдательности и его юмору. Бесконечная вереница комических и трагических лиц проходила перед глазами его в залах парламента, в палате суда, на шумных избирательных митингах, на торжественных заседаниях разных обществ, в тряских почтовых каретах, в захолустных гостиницах и трактирах. И какое множество этих лиц удалось ему увековечить в своих романах!

Одновременно с репортерством началась и литературная деятельность Диккенса. В 1833 году в декабрьской книжке «Old Monthly Magazine» появилось его первое печатное произведение — рассказ «A Dinner at Poplar Walk» («Обед в аллее тополей»), впоследствии перепечатанный под заглавием «Minns and His Cousin». Со страхом и трепетом опустил он свою рукопись в темный почтовый ящик в глубине двора и с невыразимым волнением увидел свой рассказ в печати. «Я должен был зайти в залу Вестминстера, — рассказывал он, — и некоторое время ходить по ней взад и вперед, так как глаза мои до того блистали

радостью и гордостью, что не могли выносить уличного света, да и неловко было показывать их прохожим».

Вслед за первым рассказом в том же журнале появилось еще девять, подписанных именем Боз, в честь младшего, любимого брата Диккенса, которого домашние называли этим прозвищем.

В 1835 году редакция «Morning Chronicle» решила издавать вечернее приложение к газете, и редактор этого приложения, Гогард, попросил Диккенса дать ему небольшой рассказ для первого номера. Диккенс с удовольствием согласился и в то же время робко спросил, не пожелают ли издатели газеты принять от него целый ряд мелких очерков под одним общим заглавием и не сочтут ли они возможным платить ему сколько-нибудь за эти очерки, кроме его репортерского жалованья. Издатели ответили утвердительно на оба вопроса и увеличили его жалованье с пяти до семи гиней в неделю.

В 1836 году Диккенс собрал все свои мелкие рассказы в два тома и продал их за полторы тысячи рублей одному молодому издателю, который выпустил их в свет под заглавием «Очерки Боза. Изображение будничной жизни и будничных людей» («Sketches by Boz»). Маленькие книжки, снабженные привлекательными иллюстрациями, сразу приобрели симпатии публики и доставили известность молодому автору. В этих первых опытах пера Диккенса уже проглядывают все те достоинства, какими мы восхищаемся в его больших романах: здесь попадаются сцены неподражаемого юмора, трогательные описания, черты тонкой наблюдательности. Лондон является перед нами с его страданиями и радостями, с его грязью, нищетой, туманами и предрассудками; мы видим руку великого мастера, — но руку еще робкую, неопытную. Описания несколько суховаты, юмор временами груб, напыщенность нередко занимает место живого чувства.

1836 год имел важное значение в жизни Диккенса: в начале этого года он женился на мисс Катерине Гогард, старшей дочери редактора той самой «Вечерней хроники», в которой помещались его «Очерки». В этом же году он приобрел славу как писатель и мог вполне посвятить себя литературе, не заботясь о постороннем заработке.

Первое крупное произведение Диккенса, сразу завоевавшее ему и славу и материальное обеспечение, «Записки Пиквикского клуба» («The Posthumus Papers of the Pickwick Club»), начато им случайно, без строго обдуманного плана. Одна издательская фирма, «Чепман и Галль», задумала выпустить в свет серию карикатурных листков, изображающих положения разных охотников и спортсменов. Известный в то время карикатурист,

Сеймур, должен был поставлять рисунки, а писать к ним текст редакторы хотели поручить «Бозу». Диккенс принял их предложение, но в значительно измененном виде: он согласился ежемесячно поставлять им около двух печатных листов текста с тем, чтобы Сеймур иллюстрировал его. В виде уступки первоначальному плану, Пиквик явился председателем клуба, а Винкль — неудачливым спортсменом. Начиная писать знаменитые «Записки», Диккенс намеревался просто создать забавную книгу, в которой смешные картинки усиливали бы впечатление веселого текста. Но по мере того, как он входил в роль своих героев, сживался с ними, перед ним раскрывались более серьезные стороны их характера. В первых главах мистер Пиквик является нам в несколько карикатурном виде ученого, «исследовавшего великие пруды Гамштета до самого источника их». Но мало-помалу характер его изменяется, и в конце концов мы видим перед собой человека со здравым умом и прекрасным сердцем, стоящего гораздо выше исследования Гамштетских прудов и тому подобных нелепостей. При описании сцен в тюрьме автор, очевидно, намеревался не просто вызвать смех, но и затронуть более глубокие струны человеческого сердца. Чем далее продвигался роман, тем яснее сознавал он силу своего творчества и свою обязанность не расходовать эту силу на простую потеху публики. И читающая публика сразу почувствовала, что перед ней произведение настоящего таланта. Скромные книжки, явившиеся без всяких широковещательных реклам, не обещавшие заинтересовать захватывающей фабулой романа, после четырех-пяти выпусков приобрели необыкновенную популярность, возраставшую с каждым месяцем.

Первый выпуск «Записок» разошелся в количестве четырех тысяч экземпляров, пятнадцатый — в количестве сорока с лишним тысяч. В магазинах выставлены были шляпы, трости, сигары и материи a la Пиквик, знакомые, встречаясь на улице, обсуждали приключения действующих лиц романа, точно происшествия из жизни близких знакомых. Люди всех возрастов, всех классов общества зачитывались «Пиквиком». Карлейль рассказывает, что один благочестивый священник пришел к умирающему больному и долго беседовал с ним, стараясь приготовить его к переходу в лучший мир. Ему казалось, что он достиг своей цели, как вдруг больной прошептал: «Новая книжка „Пиквика“ выйдет через десять дней, — даст Бог, я все-таки проживу до тех пор и прочту ее!»

Период тяжелой борьбы за существование безвозвратно прошел для Диккенса. Перед ним открылась широкая дорога славы и материального достатка. Испытания, пережитые в ранней

юности, закалили его характер, развили в нем твердую волю, страстную решимость не поддаваться обстоятельствам, а самому господствовать над ними. Пример отца, страдавшего и заставлявшего других страдать из-за легкомыслия и беспорядочности, послужил ему уроком на всю жизнь, и сам он всегда был образцом аккуратности, точности и порядка. «Если браться за дело, то надо делать его хорошо!» — говорил он обыкновенно и действительно исполнял не только добросовестно, но даже с каким-то увлечением, всякое дело, за какое брался. Самоуверенный, как все люди, «сами себя сделавшие», он считал, что силой воли может победить все препятствия, достигнуть всего, чего захочет, и очень не любил отступать от однажды принятого решения. Впрочем, излишняя самоуверенность и некоторое стремление подчинить окружающих своим вкусам и желаниям смягчались у него почти женской нежностью, чувствительностью, страстным исканием дружбы и симпатии. Сам он вполне сознавал свои недостатки и приписывал их главным образом влиянию несчастного детства. «Умоляю Вас, — писал он гораздо позже, в 1862 году, своему другу Форстеру, — вспомните все, что Вы знаете о моем детстве, и спросите себя: не естественно ли, что некоторые черты характера, образовавшиеся у меня тогда и сгладившиеся при счастливых обстоятельствах, снова появились в эти последние годы. Страдания прежнего времени породили болезненную обидчивость и подозрительность в полуголодном, полуодетом ребенке, и страдания последнего времени снова вызвали на свет эти черты».

В молодые годы, в годы «Пиквика» и начала блестящей литературной карьеры все, что могло быть несколько жесткого в характере Диккенса, вполне стушевывалось под влиянием счастья, неожиданного успеха, общей симпатии и поклонения его таланту. Все, кто знал его в то время, отзываются о нем как о человеке в высшей степени привлекательном, обаятельно действовавшем на окружающих. Здоровье его окрепло, он вовсе не походил на хилого ребенка, изнывавшего на складе ваксы: теперь это был молодой человек невысокого роста, но очень правильно сложенный, с легкой поступью, свободными манерами и раскованными движениями. Целая шапка роскошных каштановых кудрей покрывала его голову, ясные голубые глаза его светились веселым юмором, большой рот с полными губами добродушно улыбался. Все лицо его было необыкновенно выразительно, подвижно, фигура говорила о деятельной, энергичной натуре. «Он весь точно скован из стали», — отзывалась о нем г-жа Карлейль. «Какое удивительное лицо, — заметил один господин, в первый раз встретивший его в

обществе, — в нем как будто соединены жизни и души пятидесяти человеческих существ!»

ГЛАВА III

Активная деятельность, — Материальное благосостояние. — Горе. — Правильная жизнь. — «Оливер Твист». — «Николас Никльби»

Диккенс всегда был неутомимым работником, способным отдавать всего себя делу, за которое брался. Неожиданный успех «Записок Пиквикского клуба» показал ему его собственные силы, его призвание, и он с жадностью набросился на литературную деятельность. В течение четырех лет он написал пять больших романов и, кроме того, несколько мелких произведений. Со своей стороны, издатели сразу поняли, как много выгоды мог принести им молодой писатель, так быстро завоевавший себе громадную популярность, и всеми силами подстрекали его писать как можно больше. В 1836 году, начав «Пиквика», Диккенс до конца парламентской сессии продолжал занимать место репортера; в том же году он написал памфлет по поводу строгого соблюдения воскресенья, маленькую комедию «Странный джентльмен» («The Strange Gentleman») и либретто комической оперы «Деревенские кокетки» («The Village Coquettes»). В 1837 году, не закончив еще «Пиквика», он составил на основании разных доставленных ему материалов биографию клоуна Гримальди, популярного в Англии в двадцатых годах, и заключил с издателем Бентлеем договор, по которому обязался редактировать ежемесячный журнал «Miscellanies» и написать для этого журнала роман. Фирма «Чепман и Галль», со своей стороны, настаивала, чтобы немедленно по окончании «Пиквика» он дал другой роман в таком же роде, выходящий точно так же небольшими иллюстрированными книжками.

Вместе с успехами на литературном поприще возрастало и материальное благосостояние Диккенса. В начале издания «Пиквика» ему предложили за каждый выпуск по сто сорок рублей, и он находил это предложение вполне выгодным, особенно когда издатели согласились заплатить ему вперед за два выпуска: благодаря этим деньгам он смог жениться на страстно любимой девушке. По всей вероятности, жизнь его в то время сильно походила на жизнь Тома Траддлеса из «Дэвида Копперфилда». Он, так же как Траддлес, остался с молодой женой на своей холостяцкой квартире и, так же как Траддлес, должен был из своих заработков помогать семье, только не женином, а

своей собственной; наконец, в его доме, так же как в доме добряка Траддлеса, постоянно гостила какая-нибудь из свояченицы. Когда успех «Пиквика» стал очевиден, издатели постыдились оплачивать его так скудно и стали присылать автору добавочную плату, составившую за все выпуски около двадцати пяти тысяч рублей. На новый роман заключено было соглашение уже на совершенно иных основаниях: издатели обязались уплатить за него тридцать тысяч рублей и пользоваться правом издания в течение пяти лет, а после этого срока роман становился собственностью автора. Бентлей также вскоре значительно увеличил вознаграждение, которое обязался было платить «молодому писателю». Издатель Макрон, купивший «Очерки Боза» за полторы тысячи рублей, казавшиеся Диккенсу целым состоянием в начале 1834 года, вздумал через год сделать второе издание их в форме ежемесячных книжек, — но тогда Диккенс уже не мог допустить такой эксплуатации своего имени и после долгих неприятных переговоров выкупил «Очерки» за двадцать тысяч рублей. Помощником и поверенным Диккенса при всех его сделках с издателями и книгопродавцами являлся Джон Форстер — честный, правдивый, практичный человек, с которым Диккенс познакомился в 1836 году и с которым его скоро связала самая тесная дружба, окончившаяся только со смертью романиста. Старший по возрасту, гораздо более благоразумный и осторожный в житейских делах, Форстер был бесценным советником для молодого писателя, легко поддававшегося увлечениям и склонного всякое свое намерение быстро приводить в исполнение. Советы Форстера касались не одних только практических вопросов. С первых выпусков «Оливера Твиста» у Диккенса вошло в обыкновение, прежде чем отдавать в печать свои произведения, прочитывать их своему другу и обсуждать вместе с ним судьбу того или другого героя. Всякое практическое замечание Форстера с благодарностью принималось им, но нельзя не заметить, что Форстер гораздо больше сочувствовал и восхищался, чем критиковал.

С увеличением денежных средств Диккенс постепенно улучшал и свою домашнюю обстановку. В начале 1837 года, после рождения старшего сына, он перебрался из своей тесной холостяцкой квартирки в гораздо более просторную на Даути-стрит. В этой квартире Диккенса постигло первое серьезное горе. Там умерла почти скоропостижно младшая сестра его жены, семнадцатилетняя Мери Гогард. Трудно предположить, чтобы романист, всего за полтора года перед тем женившийся по любви, чувствовал страсть к молоденькой девушке, почти ребенку, жившему в его доме, но несомненно, что его соединяла с нею

более чем братская привязанность. Смерть ее так поразила его, что он бросил все свои литературные работы и на несколько лет уехал из Лондона. Он хранил память о Мери в течение всей своей жизни. Ее образ стоял перед ним, когда он создавал Нелли в «Лавке древностей»; в Италии он видел ее в своих мечтах, в Америке думал о ней при шуме Ниагары. Она представлялась ему идеалом женственной прелести, невинной чистоты, нежным, полураспустившимся цветком, слишком рано скошенным холодной рукой смерти.

В период жизни на Даути-стрит Диккенс установил себе распорядок дня, которому с тех пор следовал с неизменным постоянством. Работал он обыкновенно утром между первым и вторым завтраком; иногда только, когда накапливалась спешная работа, как было в первые годы его литературной деятельности, у него случались, как он выражался, «двойные приливы», и он сидел за письменным столом поздней ночью. Вообще же он, как Гёте, находил, что в утренние часы мысль свежее и мозг действует более правильно. Отдыхом от занятий служили ему длинные прогулки пешком и верхом. Пройти миль двадцать-тридцать для него ничего не стоило. Не было в Лондоне улицы или переулка, которые бы он не исходил десятки раз взад и вперед во все часы дня, во всякую погоду. Особенно любил он гулять в сумерках. Темнота, окутывавшая город, имела для него своеобразное обаяние. Наслаждаясь чудными видами Генуи, он вздыхал по мосту Ватерлоо и готов был отдать всю прелесть итальянской жизни за право бродить по нему в восемь часов вечера. Нечего и говорить о том, какое значение имели эти прогулки для работ Диккенса. Человек, умеющий смотреть, едва ли где-нибудь найдет сцену, на которой разыгрывается столько жизненных драм, как на улицах Лондона, а Диккенс был именно человек, умевший смотреть. «Он видит десять вещей там, где для обыкновенного человека только две!» — говорили про него знакомые.

«Оливер Твист» был первым настоящим романом Диккенса, романом с завязкой и развязкой. В «Пиквике» мы видим ряд сцен, ряд приключений часто случайных, введенных в рассказ без строго обдуманной цели. В «Оливере» все события и лица группируются в стройном порядке вокруг главного героя. Этот герой — ребенок, вскормленный рабочим домом и приютом для подкидышей, брошенный на произвол сначала грубого мастера, а потом целой шайки воров и грабителей. Многое можно возразить против фабулы романа, против искусственности некоторых характеров — или слишком добродетельных, или непомерно порочных, — но то теплое, гуманное чувство, которым проникнут

весь рассказ, заставляет забывать недостатки его построения. Читатели, от души хохотавшие над чудачествами героев «Пиквикского клуба», умилялись теперь над несчастьями маленького Оливера, проникались негодованием не только к его мучителям, но и к тем общественным условиям, которые порождают тысячи таких Оливеров. Этим романом начинается ряд произведений, где Диккенс является не просто остроумным юмористом, неподражаемым живописцем своеобразных эксцентричностей отдельных лиц из разных слоев английского общества, но и едким обличителем общественных пороков, недостатков общественных учреждений.

«Оливер Твист» еще не был закончен, когда Диккенс начал свой третий большой роман «Николас Никльби» («The Life and Adventures of Nicholas Nickleby»). С самого первого выпуска роман этот имел громадный успех среди читающей публики. Добродушно-глуповатая, непрактичная миссис Никльби и ее дети, идеалисты, незнакомые с темными сторонами жизни, сразу завоевали общие симпатии; люди, которые в жизни стояли по колено в грязи и охотно забрасывали этой грязью ближних, с напряженным интересом следили за судьбой двух молодых существ, вышедших на тяжелую борьбу за существование без всякого оружия житейского опыта и житейской ловкости, в невинном убеждении, что зло должно быть побеждено, а добро восторжествовать. Интерес еще более возрос, когда появились так называемые «дешевые школы». Это были своеобразные учреждения, ютившиеся почему-то преимущественно в Йоркшире. Бессовестные аферисты рассылали многообещающие объявления, а родители или опекуны, почему-либо желавшие держать детей подальше от глаз, не трудились проверять правдивость этих объявлений и сдавали мальчиков с рук на руки якобы воспитателям, которые увозили их с собой в деревню и там делали с ними что хотели. Диккенс еще в детстве слышал рассказы о возмутительном содержании йоркширских «школ»; рассказы эти оживились в его памяти в 1836 году на судебном разбирательстве одного дела, в котором отец жаловался на истязание сына, и он решил сам посетить и осмотреть пресловутые «школы». Он отправился туда с одним своим приятелем-художником, и действительность превзошла самые мрачные их ожидания. Не раз после этого путешествия в ночном кошмаре стояли перед Диккенсом образы несчастных жертв разных сквирсов, и он ополчился в их защиту единственным доступным ему орудием — пером.

Талант помог ему достигнуть цели: яркое изображение йоркширских «школ» в «Николасе Никльби» возбудило

общественное негодование против этих безобразных учреждений, и вскоре они исчезли. Насколько правдивы картины, изображаемые Диккенсом, видно по тому, что во все время издания романа его засыпали письмами со всех сторон. «Многие йоркширские учителя, — рассказывает он, — выражали автору свое возмущение тем, что он с них списал своего Сквирса. Один из этих негодяев советовался даже с адвокатами, нельзя ли ему возбудить судебное преследование за диффамацию[1]. Другой намеревался ехать в Лондон убить своего обличителя. Третий вспомнил, что несколько месяцев тому назад к нему приходили два господина: один с ним разговаривал, другой рисовал его портрет, и хотя портрет вышел нисколько не похож — у него оба глаза целы, а Сквирс одноглазый, — но все соседи и друзья тотчас узнали его, вероятно, вследствие нравственного сходства». С другой стороны, читатели настолько живо интересовались судьбой действующих лиц романа, настолько сживались с ними и проникались симпатией к ним, что беспрестанно обращались к автору с просьбой то выдать замуж героиню, то сохранить жизнь бедному Смайку.

«Николас Никльби» выходил, как и «Записки Пиквикского клуба», небольшими ежемесячными книжками с иллюстрациями, начиная с апреля 1838-го по октябрь 1839 года. Одновременно Диккенс вел «Оливера Твиста» в редактируемом им журнале «Miscellanies». Кроме того, он заключил с владельцем этого журнала договор, по которому обязался немедленно по окончании «Оливера» начать новый роман. Но вскоре опыт показал ему, что такая активная работа слишком утомительна. Кроме утренних часов, ему приходилось просиживать с пером в руке до поздней ночи, все мысли его заняты были судьбой того или другого героя — а в это время его ждали корректурные листы или рукописи для журнала. Главное, он не мог относиться с холодной объективностью к созданиям своей фантазии, это были для него живые люди. Сидя один в комнате, он громко хохотал над их комическими приключениями или обливался слезами при их несчастьях, — понятно, насколько такое нервное напряжение должно было утомлять его! К началу 1839 года утомление это достигло такой степени, что Диккенс решил уничтожить легкомысленно заключенный договор с издателем; он прямо объявил ему, что должен иметь отдых и что раньше как через полгода не примется за новый роман.

Издатель «Miscellanies», не желая лишиться выгодного сотрудничества с молодым автором, согласился не только на требуемую отсрочку, но и на передачу редактирования журнала другому лицу. Диккенс мог спокойно заканчивать «Никльби», не

смущаясь «грозным призраком нового романа», и затем вполне отдохнуть от работы в кругу семьи и добрых друзей.

ГЛАВА IV

Дружеский кружок. — Веселое времяпрепровождение. — Безумная страсть. — Газетные «утки». — «Часы мистера Гумфри». — «Лавка древностей». — «Барнаби Рудж». — Ворон. — Путешествие в Шотландию

Романы Диккенса продавались в таком громадном количестве экземпляров, что, несмотря на значительные барыши издателей, давали и автору возможность устроить с полным комфортом свою жизнь и жизнь своих близких. Он нанял хорошенький коттедж недалеко от Лондона в живописной сельской местности, снабдил его всем необходимым и поселил в нем своих родителей. Сам же романист с семьей занял красивый дом с большим садом на Девонширской террасе против Реджент-парка. На лето он обыкновенно выезжал с семьей на берег моря или куда-нибудь в деревню.

В это время вокруг него составился дружеский кружок из литераторов, адвокатов, ученых, художников, актеров и музыкантов. Поэты Гуд и Вальтер Лендор, художник-портретист Меклиз, известный карикатурист Каттермюль, веселый собеседник и автор мрачных романов Гарисон Айнсворт, адвокаты Тальфурд, Фонблан, Елиотсон, Сидней Смит, знаменитый актер и директор Дрюриленского театра Макриеди собирались на веселые беседы в гостиной Диккенса. Ни малейшая зависть, ни малейшее чувство соперничества не омрачали его отношения к лучшим романистам того времени: Бульвер и Теккерей были в числе его друзей, он искренне восхищался первыми романами Элиота, с Уилки Коллинзом его соединяла самая тесная приязнь.

В обществе Диккенс был человеком в высшей степени приятным: он умел придавать привлекательность самому пустому разговору; какой-нибудь вычитанный им анекдот, случайно подслушанный разговор, сценка, подмеченная на улице, — все в его пересказе являлось остроумным, смешным, привлекательным. Он способен был предаваться веселым забавам с таким же увлечением, с каким предавался серьезной работе. Летом на даче у него постоянно гостили родные и молодые друзья; они устраивали разные атлетические упражнения, игры в мяч и шары, стрельбу в цель, метание диска и тому подобное. Диккенс увлекался этими упражнениями и гордился победами в них не

меньше, чем своими литературными успехами.

В начале 1840 года, во время бракосочетания королевы Виктории, он поверг в величайшее недоумение одного из своих друзей, сообщив ему письмом, что безнадежно влюблен в королеву. «Я окончательно погибший человек, — писал он, — я ничего не могу делать! Я перечитывал „Оливера“, „Пиквика“ и „Никльби“, чтобы собрать свои мысли и приготовиться к новой работе, — все напрасно: сердце мое в Виндзоре, летит за милой. Присутствие жены мучит меня, мне тяжело видеть родных, я ненавижу свой дом. Я не знаю, что делать: не утопиться ли мне в канале Регента, не зарезаться ли бритвой у себя в комнате, не отравиться ли за обедом у миссис Х, не повеситься ли на грушевом дереве в саду, не уморить ли себя голодом, не велеть ли открыть себе кровь и сорвать перевязки, не броситься ли под экипаж, не убить ли Чепмана и Галля и стать великим в истории (тогда она узнает обо мне, может быть, даже подпишет мой приговор), не сделаться ли чартистом, стать во главе заговорщиков, напасть на дворец и спасти ее собственными руками — одним словом, стать чем-нибудь, только не тем, что я есть, сделать что-нибудь не то, что я делаю». Фантазия представляться влюбленным в королеву продолжалась у Диккенса целый месяц. Он и его два друга, Форстер и Меклиз, раздували эту фантазию до чудовищных размеров, строили на основании ее самые нелепые планы и приводили в полное недоумение присутствовавших, не посвященных в дело и не знавших — принимать ее в шутку или всерьез, тем более что сам Диккенс с неподражаемым искусством изображал влюбленного, доведенного несчастной страстью до полного отчаяния.

Может быть, именно эта или другая подобная шутка подала повод толкам, распространившимся в прессе, что Диккенс помешался и уже отправлен в дом умалишенных. Некоторые органы печати, с самого начала недоверчиво относившиеся к его успеху, находившие, что он исчерпал себя в «Пиквике», «что он с треском взлетел наверх, как ракета, и упадет вниз, как палка», прибавляли, что умопомешательство вызвано не столько усиленной работой, сколько разгульной жизнью. Ходили слухи, что он сильно пьет, изменяет жене, знается с безнравственными кутилами, проводит большую часть времени в разных лондонских трущобах. Диккенс относился совершенно равнодушно ко всем этим выдумкам. «Моим „доброжелателям“ мужского и женского пола, — пишет он в предисловии к одному из своих изданий, — распустившим слух, что я сошел с ума, будет приятно узнать, что слух этот быстро распространился и сделался предметом многочисленных оживленных споров. В моем сумасшествии никто

не сомневается, это считается фактом доказанным, спорят только о том, в какую больницу меня свезли. Так как эта история возмущает некоторые добрые души, то я считаю своей обязанностью заявить, что бедный безумец узнал о ней у себя дома, в кругу своей семьи, и что подробности о его интимной жизни дали повод к бесконечному веселью, к бесчисленным шуткам и остротам его друзей, — короче, говоря словами векфилдского священника, я не знаю, стали ли мы остроумнее после этого инцидента, но хохот раздается у нас теперь еще чаще прежнего».

Вскоре после этой выдумки в городе и в печати появилась другая: утверждали, что Диккенс принял католичество, — и католические священники засыпали его письмами с просьбами о вспомоществовании или для себя лично, или для своих церквей. Вообще, просительные письма приходили к нему в громадном количестве и от частных лиц, и от разных благотворительных учреждений. Он щедро раздавал деньги направо и налево и сам первый добродушно смеялся над собой, когда узнавал, что был жертвой какого-нибудь ловкого обманщика.

Между тем литературные работы Диккенса не прерывались. Летом 1839 года он написал для Ковент-Гарденского театра небольшую пьесу, которую впоследствии развил в рассказ «Фонарщик» («Lamplighter»), помещенный в сборнике, изданном им в пользу вдовы Макрона, первого издателя «Очерков Боза»; осенью, тотчас по окончании «Николаса Никльби», он принялся за новый роман, обещанный для журнала «Miscellanies», — «Барнаби Рудж». Роман этот трудно продвигался вперед, и Диккенс задумал новое литературное предприятие: еженедельный иллюстрированный журнал, который состоял бы из мелких очерков, рассказов, сатирических обозрений явлений жизни общественной, парламентской и судебной, из описаний прошлого, настоящего и будущего Лондона. Часть этого журнала он брался писать сам, а остальная должна была состоять из произведений случайных сотрудников под его редакцией. Чепман и Галль, весьма дорожившие таким автором, как Диккенс, с полной готовностью взялись быть издателями нового журнала, и он начал выходить в свет с апреля 1840 года под заглавием «Часы мистера Гумфри» («Mister Humphrey's Clock»). Происхождение этого несколько странного заглавия объясняется тем, что Диккенс хотел придать некоторую искусственную связь отдельным очеркам и рассказам. В первом номере журнала он дает описание небольшого клуба или кружка лиц, которые сходятся в определенные дни и занимают друг друга чтением разных рассказов и очерков. Председатель клуба, мистер Гумфри,

одинокий старик, необыкновенно дорожит большими стенными часами, которые своим однообразным тиканьем нарушают тишину его квартиры; в футляре старомодных часов он хранит старые рукописи, и чтение этих рукописей должно занять в течение многих вечеров его приятелей, которые из уважения к любимой вещи своего друга называют и свой клуб «Часы мистера Гумфри». Новое издание поглощало все мысли Диккенса. Сначала успех превзошел его ожидания. Первый номер разошелся в количестве семьдесят тысяч экземпляров. Но вскоре публика, надеявшаяся получить от своего любимого автора произведение вроде «Пиквика» или «Никльби», не находя в «Часах» целого большого романа, охладела к журналу, и спрос на его номера стал постоянно сокращаться. Диккенс и сам скоро разочаровался в своем предприятии: сотрудников, на которых он рассчитывал, не появлялось, а наполнять одному еженедельный журнал разнообразным интересным материалом оказывалось слишком трудно. Кроме того, когда он составлял один из первых номеров журнала, ему пришел в голову небольшой рассказ из жизни девочки, и вскоре рассказ этот окончательно увлек его. Чем больше Диккенс обдумывал его, тем он больше разрастался в его воображении и наконец принял форму длинного романа под названием «Лавка древностей» («The Old Curiosity Shop»), который заполнил собой «Часы» и вытеснил из этого журнала все мелкие статьи.

Всю осень и зиму 1840 года Диккенс занят был этим новым произведением; в письмах к своему другу Форстеру он говорит о разных действующих лицах романа, как о своих друзьях и близких знакомых, но особенно часто, с особенною нежностью останавливается он на образе маленькой Нелли. При описании ее перед ним, очевидно, стояло воспоминание о его любимой свояченице Мери, и он снова переживал всю горечь ее ранней смерти. «Вы не можете себе представить, — говорит он в одном из своих писем, — как я устал после вчерашней работы. Я лег спать совсем разбитый и подавленный. Всю ночь девочка преследовала меня, и я проснулся сегодня, нисколько не отдохнув, не освежившись сном». Он долго не решался приступить к описанию смерти Нелли. «Я надеюсь, что эта часть удастся мне, — писал он Форстеру, — но я самый несчастный из несчастных; она бросает мрачную тень на всю мою жизнь. Я боюсь подойти к этому месту, больше чем Кит, больше чем м-р Гарланд, больше чем Одинокий Джентльмен. Я долго не оправлюсь после этого. Никто не будет так грустить о ней, как я. Я невыразимо страдаю! Старые раны болят, как только я начинаю думать о том, что должен сделать. Мне представляется, будто дорогая Мери умерла только вчера».

Похоронив Нелли, он вышел из своей комнаты с опухшими от слез глазами, точно проводил на кладбище близкого друга. «Я сидел сегодня ночью до четырех часов и закончил историю, — пишет он, приготовив к печати последний выпуск „Лавки древностей“. — Мне очень грустно, что приходится навеки расстаться со всеми этими людьми, мне кажется, я никогда так не привяжусь к другим действующим лицам».

Роман, написанный с таким глубоким, неподдельным чувством, не мог не произвести сильного впечатления на читателей. И действительно, ни одно из произведений Диккенса не пользовалось большим успехом и по эту, и по ту сторону океана. Масса слез проливалась над судьбой маленькой Нелли и в Англии, и в Америке. Гуд, автор «Песни о рубашке», посвятил ей стихотворение; Джефри, суровый судья, издатель «Эдинбургского обозрения», плакал над ее могилой; молодой поэт Лендор ставил ее наравне с Дездемоной и Джульеттой; позднее Брет Гарт описал в прелестном стихотворении на смерть Диккенса, как суровые золотоискатели Калифорнии забывают свои труды и ссоры, читая ее историю при свете костра, в дикой пустыне, и как под влиянием ее чистого образа смягчаются их грубые сердца.

Издатель Бентлей по собственному почину освободил Диккенса от тяготившего его обязательства поставить в «Miscellanies» новый роман, и по окончании «Лавки древностей» тот начал печатать в «Часах мистера Гумфри» давно начатый роман «Барнаби Рудж». В этом романе сцена переносится из современной жизни, столь хорошо знакомой автору, в эпоху конца XVIII века, когда жестокие наказания считались единственным средством против преступлений, вызываемых нищетою и невежеством народа. Правосудие дремало, когда дело шло о предупреждении зла, — но свирепствовало над несчастными жертвами, попавшими ему в руки. Палач не отдыхал, виселицы были обыденным явлением, народ, страдавший от крайней нищеты, зараженный религиозным фанатизмом, поднимал бунты, которые потоплялись в крови их участников. Один из таких бунтов описан Диккенсом в «Барнаби Рудж». Он так увлекся изображением волнения народных масс, что под конец почти забыл тех лиц, которые являются в первой части романа. В двух своих исторических романах «Барнаби Рудж» и «Повесть о двух городах» автор является гораздо меньше «Диккенсом», чем в своих произведениях из современной жизни. Присущие ему черты тонкого юмора проглядывают лишь мельком, изредка, среди сцен, полных трагизма, переходящего иногда в мелодраматизм.

Одно из действующих лиц «Барнаби» заслуживает внимания

своей оригинальностью: это ворон Грип, постоянный спутник дурачка Барнаби. Диккенс говорит, что списал его со своего собственного ворона, но портрет, во всяком случае, сильно приукрашен, так как Грип является настоящим мудрецом. Диккенс, любивший вообще всех домашних животных, питал какое-то странное пристрастие к этой породе птиц. В его доме на Девонширской террасе жил и воспитывался один ворон за другим, и в его переписке мы находим трагикомическое описание кончины одного из этих любимцев.

«Я должен сообщить Вам грустную, потрясающую новость, — писал он, — мы лишились нашего Ворона. Он скончался сегодня, в начале первого. Он хворал несколько дней, но я не придавал этому серьезного значения, думая, что все это следствие того большого куска белой краски, который он съел летом. Вчера вечером ему стало настолько худо, что я послал нарочного за его врачом, который поспешил приехать и прописал ему прием касторового масла. Под влиянием лекарства больной оправился настолько, что в восемь часов в состоянии был укусить Топпинга (грума). Ночь он провел спокойно, утром чувствовал себя с виду хорошо; принял по предписанию доктора еще порцию лекарства и с удовольствием покушал горячей каши. Около одиннадцати часов ему опять стало так дурно, что мы обвязали молоток у дверей конюшни. В половине двенадцатого он заговорил сам с собой о лошади и о семействе Топпинга и произнес несколько непонятных слов, вероятно, относившихся или к его близкому концу, или к оставляемому им имуществу; имущество это состоит из мелких монет, которые он зарывал в разных частях сада. Когда часы пробили двенадцать, ворон заволновался, прошелся раза два-три по конюшне, пытался каркнуть, зашатался, вскрикнул: „Голля, старуха!“ и — скончался. Во все время болезни он выказывал удивительное спокойствие, терпение и самообладание. Мне очень жаль, что я не предвидел близкого конца его и не выслушал его последних распоряжений. Кетти (миссис Диккенс) здорова, но, как Вы можете себе представить, очень огорчена. Дети, напротив, радуются: он, видите ли, щипал их за ноги, — но ведь это делалось в шутку!»

Этот ворон, кончина которого так огорчила романиста, благодаря «Барнаби Руджу» стал знаком всей читающей Англии. После смерти Диккенса распродавались с аукциона некоторые картины и предметы искусства, принадлежавшие ему. «Необыкновенное волнение, — рассказывает один очевидец в „Chambers Journal“, — овладело всеми нами, когда на стол поставили чучело ворона. Перед нами была любимая птица великого человека — Грип, Грип Барнаби Руджа и целого мира,

птица, которую Диккенс ласкал и кормил своими руками, которая стала героем одного из его произведений. Наверное, мы не больше взволновались бы, если бы нам показали набальзамированного Сэмюэла Уэллера. Со всех сторон раздались восторженные рукоплескания. Все кричали: „Грип! Грип!“, точно бедная птица могла слышать, вспоминали его любимые выражения. „Знаменитый Грип!“ — „Пятьсот рублей!“ — „Шестьсот!“ — „Восемьсот пятьдесят!“ — „Тысяча!“ (Гром рукоплесканий). Наконец, среди шума и криков, его покупают за тысячу двести рублей. „Кто купил? Имя!“ — кричат со всех сторон. Оказалось, что ворон приобретен естественноисторическим музеем, и на всех лицах выразилось разочарование».

Летом 1841 года Диккенс совершил вместе с женой путешествие по Шотландии. Издатель «Эдинбургского обозрения», мистер Джефри, пригласил его посетить Эдинбург от имени своих сограждан, желавших публично выразить уважение его великому таланту. Прием, оказанный ему шотландцами, может быть назван поистине триумфальным. Комнаты, занятые им в отеле, буквально осаждались посетителями, жаждавшими счастья быть представленными знаменитому романисту. Город Эдинбург преподнес ему диплом на право гражданства, в его честь был дан большой обед, на котором присутствовало более трехсот человек. «Странно было видеть мои темные кудри среди стольких седых голов, — пишет Диккенс, — и многие из присутствовавших заметили эту странность». Приглашения на обеды, на вечера, в ложи театра сыпались на него со всех сторон, и ему почти тайком пришлось уехать от своих гостеприимных поклонников, чтобы совершить небольшое путешествие по Шотландии, манившей его красотами своей живописной природы и теми историческими и легендарными воспоминаниями, которые связаны с разными ее уголками.

ГЛАВА V

Путешествие в Америку. — Торжественные встречи и овации. — Первые впечатления. — Разочарование. — Литературная собственность. — Тюрьмы. — Невольничество. — Возвращение

В Диккенсе странным образом соединялась любовь к семейной жизни, к родному дому, к тесному кружку близких друзей со страстью к путешествиям, к перемене мест. Как только материальные средства его улучшились настолько, что он мог устраивать жизнь по своему вкусу, он стал каждый год предпринимать небольшие поездки по различным местам Англии. «Нет на земле места лучше родного дома, — писал он Форстеру из Эдинбурга вслед за рассказом о торжественном приеме, оказанном ему. — Я благодарю Бога за то, что он наделил меня спокойным духом и сердцем, которое не может вместить многих лиц. Я вздыхаю по Девонширской террасе, по нашим играм в волан, мне хочется обедать в блузе с Вами и Мэком (художником Мэклизом. — Авт.)». И, несмотря на это, вернувшись из Шотландии, он тотчас же стал мечтать о другом, еще более далеком путешествии. Вашингтон Ирвинг писал ему о той популярности, какой пользуются его романы в Америке, и звал его лично в этом убедиться. Диккенса неудержимо потянуло за океан. С помощью Форстера ему удалось заключить очень выгодный договор с издателями, которые соглашались печатать новый обещанный им роман в той же форме, в какой выходил «Пиквик», и при этом давали ему отсрочку на год, обязуясь в течение этого года уплачивать по полторы тысячи рублей в месяц, а в течение того года, когда будет писаться роман, — по две тысячи рублей в месяц. Кроме того, они брались издавать все те заметки и письма, которые он приготовит к печати во время путешествия. Добрые знакомые взяли к себе его детей (двух мальчиков и двух девочек, сверстников его четырех больших романов), которые были еще слишком малы для путешествия за океан, и в январе 1842 года он вместе с женой сел на пароход. Море, обыкновенно бурное в это время года, встретило их далеко не гостеприимно. Сильная качка продержала их в постели большую часть пути, им пришлось перенести страшную бурю, едва не разбившую пароход. Но все неудобства и опасности пути были забыты, как только они ступили на берег Америки. Если в

Эдинбурге Диккенса встречали с княжескими почестями, то в Соединенных Штатах ему приготовили прием, достойный победителя-триумфатора. Со времен Лафайета никого не приветствовали Штаты с таким единодушным восторгом. Очевидно, он пользовался среди американцев еще большей популярностью, чем среди англичан. Они не менее своих заатлантических собратьев пленялись чертами гуманности, сердечности, человеколюбия, отличающими его произведения, но, кроме того, они находили в них под маской юмора протест против темных сторон английской действительности. «Вы преклоняетесь перед титулами, перед военными героями и миллионерами, — говорили на все лады главнейшие американские газеты, — вы раздаете овации королям и победителям, — а мы, граждане Нового Света, устраиваем торжественную встречу молодому человеку, прославившемуся исключительно своим талантом и добрым сердцем, мы хотим показать вам, что считаем этот талант, эти добрые чувства более достойными славы, чем происхождение, богатство, титул или военные заслуги».

Начало овациям, сопровождавшим Диккенса во все время его путешествия, было положено в Галифаксе, первом городе, где он высадился на берег. Толпы народа приветствовали его на улице, председатель Народного собрания лично приехал в карете за ним и его женой, представил его губернатору и привез в заседание собрания, где для него было приготовлено почетное кресло. Из Бостона Диккенс писал Форстеру: «Как могу я рассказать Вам все, что происходило здесь с самого первого дня нашего приезда? Как могу я дать Вам малейшее понятие о приеме, ожидавшем нас, о массе лиц, которые целый день теснятся около нас, о народе, который собирается на улицах, когда я куда-нибудь иду, о криках и рукоплесканиях в театре, о стихотворениях, приветственных письмах, всевозможных восхвалениях, бесконечных балах, обедах, собраниях? Я не в силах описать Вам все эти восторженные овации, все волнение, охватившее страну! Ко мне являлись депутации с Дальнего Запада, приехавшие за двадцать тысяч миль; депутации от озер, от рек, из девственных лесов, из бревенчатых хижин, из городов, факторий, деревень, поселений. Правительственные учреждения почти всех Штатов обращаются ко мне с письмами, я получаю адреса от университетов, от конгресса, от сената, от всевозможных частных и общественных корпораций».

Город Бостон устроил в его честь большой торжественный обед, на который, несмотря на очень высокую цену, подписалось более ста пятидесяти человек. Город Нью-Йорк дал также обед, на

котором присутствовал цвет американской интеллигенции, и парадный бал, о котором Диккенс пишет: «В четверть десятого Дэвид Кольден и генерал Моррис явились к нам в комнаты: первый в полном бальном костюме, второй в генеральской форме. Генерал предложил руку Кетти, Кольден взял под руку меня, и мы направились к карете, ожидавшей нас у подъезда, чтобы везти в театр. Огромная толпа окружала подъезд и приветствовала нас шумными криками. Зрелище, представившееся нам при входе в театр, было поразительно: три тысячи человек в парадных костюмах наполняли залу; весь театр был великолепно декорирован; свет, блеск, пестрота, шум, рукоплескания — выше всяких описаний. Мэр и прочие должностные лица встретили нас в центральной ложе, и затем мы дважды торжественно обошли всю огромную танцевальную залу, чтобы показаться всем присутствовавшим».

«Когда я выхожу на улицу, — говорит он в другом письме из того же города, — за мной следует толпа. Когда я остаюсь дома, ко мне является столько посетителей, что мои комнаты превращаются в базар. Когда я иду с приятелем осмотреть какое-нибудь общественное учреждение, директора его встречают меня во дворе и обращаются ко мне с длинными речами. Когда я принимаю чье-нибудь приглашение на вечер, меня немедленно окружает такая толпа гостей, что я задыхаюсь. На обедах мне приходится говорить со всеми обо всем. В церкви народ теснится около моей скамьи, и священники в своих проповедях обращаются ко мне. В вагонах железной дороги даже кондуктора не могут не заговаривать со мной. На станциях, если я выйду выпить стакан воды, сотни зрителей собираются смотреть, как я открываю рот и глотаю».

Мелкие города не отставали от больших в чествовании романиста. Каждый из них считал за счастье, если он соглашался провести в нем несколько дней, всюду устраивались ему торжественные встречи, обеды, вечера, ночные серенады, всюду говорились речи, всюду масса народа осаждала его комнаты, чтобы только взглянуть на него, пожать ему руку.

Этот взрыв народного энтузиазма, вызванный исключительно поклонением его таланту, не мог не возбудить чувства горделивой радости в сердце молодого писателя. Под влиянием этого чувства его первые впечатления от американской жизни оказываются самыми розовыми. Он находит, что бостонские женщины очень хороши собой, что американцы отличаются добродушием и услужливостью, что у рабочих в Америке гораздо лучшее положение, чем в Европе, и что нищенства не существует в больших городах Нового Света. Благотворительные учреждения

Бостона заслужили его полное одобрение. Он с большим чувством описывает институт слепых, городскую богадельню, детский приют, больницу и дом умалишенных, находя, что в основе управления всеми этими заведениями лежит чувство уважения к человеческому достоинству бедняка, вполне отсутствующее во всех благотворительных учреждениях Англии.

Благодушное отношение Диккенса к американскому народу продолжалось недолго: юмор был слишком присущ его натуре, чтобы он не мог не поразиться множеству странных и смешных черт в характере, манерах, способе общения своих американских поклонников. Их привычка постоянно жевать табак и плеваться возмущала его, в письмах к друзьям он подсмеивался над их костюмами и говором, наполненным местными идиомами; та бесцеремонная навязчивость, с какой они искали его знакомства, представлялась ему крайне неделикатной; хвастливость их газетных статей раздражала его. Кроме того, с самых первых дней его пребывания в Америке обнаружилась серьезная причина столкновения между ним и многими из представителей американского книжного дела. Диккенса, как и прочих английских писателей, возмущала та бесцеремонность, с какой американские издатели относились к их литературной собственности. Каждая английская книга преспокойно перепечатывалась в Америке в любом количестве экземпляров и продавалась без ведома автора или ее собственника в Англии. Издания выходили дешевле английских и причиняли громадный ущерб английской книжной торговле. Диккенс воспользовался тем, что на обедах в его честь присутствовали как члены законодательных собраний, так и представители печати, и поднял вопрос о необходимости закона, регулирующего права литературной собственности.

«Я говорил об этом в Бостоне, говорил и в Гартфорде, — пишет он. — Друзья мои были поражены моей смелостью. Я, чужой, одинокий человек в Америке, осмеливаюсь заявить американцам, что есть пункт, в котором они поступают несправедливо и с нами, и со своими согражданами, — эта мысль отнимала язык у самых смелых! Вашингтон Ирвинг, Прескот, Гоффман, Бриан — все здешние писатели согласны со мной, но никто не смеет поднять голос и пожаловаться на варварское состояние законодательства. После моей речи в Гартфорде поднялся такой шум, какого англичане не могут себе и представить. На меня посыпались анонимные письма, словесные увещания, газетные нападки, в которых говорилось, что Кольт (известный убийца. — Авт.) — ангел сравнительно со мной, уверения, что я не джентльмен, а продажный негодяй и прочее.

Комитет, устраивающий обед в Нью-Йорке, умолял меня не касаться этого предмета, хотя все они согласны, что я прав. Я отвечал, что непременно коснусь, что никто не может остановить меня, что стыд падает на их голову, а не на мою, и что так как я буду говорить об этом вопросе, когда вернусь домой, то считаю невозможным молчать здесь».

И он действительно снова поднял в своей застольной речи вопрос о необходимости охраны прав литературной собственности. Лучшая часть американской прессы поддержала его, вопрос был даже внесен в следующую сессию законодательного собрания, но большинство высказалось против проекта нового закона, и американцы продолжали безвозмездно пользоваться плодами европейской литературы. По мнению Диккенса, два мотива заставляли американцев противиться введению этого закона: во-первых, национальное стремление надуть человека при всякой торговой сделке: «Ворон не так радуется куску украденного мяса, как американец возможности прочесть английскую книгу, ничего не заплатив за нее»; во-вторых, национальная гордость: американцы уверены, что всякий автор вполне вознагражден за свой труд тем, что они, свободные, образованные, независимые американцы, читают и хвалят его произведения. «Я пробовал говорить им, что таким путем они лишают себя возможности иметь свою собственную литературу, и мне везде (кроме Бостона) отвечали: „Нам она и не нужна. Зачем нам платить за нее деньги, когда мы можем иметь ее задаром. Наш народ, сэр, не думает о поэзии. Доллары, банки, хлопок — вот наши книги, сэр“».

Осмотр общественных учреждений, и особенно тюрем, в различных городах Штатов, скоро показал ему, что он напрасно на основании бостонских наблюдений превозносил американскую благотворительность сравнительно с английской. В письмах из Нью-Йорка он с негодованием описывает тамошний арестный дом и тюрьму: «Человека находят пьяным на улице и сажают в совершенно темное смрадное подземелье. За ним запирают железную дверь и оставляют его одного в подземных коридорах, куда не проходит луч света, где нет капли воды, нет ниоткуда помощи. Там остается он, пока судья не разберет его дело. Если он умрет (как на днях случилось с одним заключенным), через какой-нибудь час крысы уже до половины съедают его тело. Я не мог стерпеть и высказал отвращение, возбуждаемое во мне этим местом. „Ну, я не знаю, — отвечал констебль (замечу в скобках, что это обычный национальный ответ), — я не знаю. У меня намедни сидело здесь двадцать шесть женщин сразу и очень красивых женщин, это факт“. Подземелье величиной с мой

винный погреб на Девонширской террасе и воняет, как самое простое отхожее место; заключенные остаются там всю ночь, и, если в случае какого-нибудь болезненного припадка они вздумают звать на помощь, голоса их будут так же мало слышны, как голоса лежащих в гробу и зарытых в могилу».

При осмотре тюрьмы Диккенса поразило, что заключенные должны все время сидеть у себя в камерах и лишены прогулки на свежем воздухе в течение многих месяцев, иногда даже лет. В одной камере он увидел мальчика лет десяти-двенадцати и с удивлением спросил, какое тяжкое преступление мог совершить такой ребенок. Добродушный сторож спокойно объяснил ему, что это не преступник, а свидетель, который должен будет показывать на суде против своего отца, убившего его мать. «„Неужели вы не находите, что жестоко содержать таким образом свидетеля?“ — спросил я его. „Ну, не знаю. Конечно, здесь невеселая жизнь, это факт!“ — отвечал добродушный сторож».

Особенно сильное впечатление произвели на Диккенса дома одиночного заключения в Филадельфии и Питсбурге. «Писать о них заметки, как я писал обо всем прочем, нелепо, — говорит он. — Все, что я там видел, запечатлелось неизгладимыми чертами в моем мозгу. Каждого заключенного, попадающего в эту тюрьму, привозят ночью; ему делают ванну и одевают его в тюремное платье; затем на голову и лицо его накидывают черное покрывало и вводят в камеру, из которой он никуда не выходит до конца срока заключения. Я смотрел на этих несчастных с таким ужасом, с каким смотрел бы на людей, заживо погребенных. За обедом я высказал директорам тюрьмы, какое ужасное впечатление произвел на меня ее осмотр; я спросил, достаточно ли они знакомы с человеческой душой, чтобы понимать, что делают с ней; я заявил им, что считаю долгосрочное одиночное заключение ничем не оправдываемой жестокостью. Они выслушали меня совершенно равнодушно, как люди, предоставляющие каждому иметь свое собственное мнение».

После посещения подобной же тюрьмы в Питсбурге он пишет: «Страшная мысль пришла мне в голову сегодня ночью, когда я вспоминал все, что видел днем. Что, если в тюрьмах являются привидения? Полное одиночество днем и ночью, долгие часы темноты, могильная тишина, ум вечно занят грустными мыслями без всякого развлечения, иногда, может быть, упреки совести. Представьте себе заключенного, который с головой зарывается в одеяло и по временам со смертельным ужасом выглядывает на таинственную молчаливую фигуру, вечно сидящую около его постели или стоящую в углу камеры! Чем больше я об этом

думаю, тем больше убеждаюсь, что ко многим из этих людей являются по ночам призраки. Я спросил у одного из заключенных, часто ли он видит сны. Он бросил на меня странный взгляд и прошептал сдавленным голосом: „Нет“».

Легко можно себе представить, как должно было возмущать человека с принципами и чувствами Диккенса существование невольничества, в то время беспрепятственно процветавшего в Южных Штатах. «Я решил не принимать никаких публичных знаков уважения, пока мы будем на земле, где существует рабство», — писал он и действительно исполнил это намерение, сделав исключение только для города Сент-Луис на Дальнем Западе, на границе с индейской территорией.

«Легко говорить: не поднимайте вопроса о невольничестве, — замечает он в другом письме, — но они не дают вам молчать, они спрашивают ваше мнение, они восхваляют невольничество как величайшее благо человечества».

И он, не стесняясь, высказывал свое мнение и на пароходах, и в вагонах железных дорог, и в отелях каждого города, где его осаждали любопытные посетители.

Диккенсы побывали во всех главных городах Соединенных Штатов, провели целый вечер и ночь в прериях, насладились зрелищем Ниагары, затем поехали в Канаду. В Монреале они приняли участие в благотворительном спектакле английских офицеров — при этом Диккенс не только исполнял главные роли, но и явился неутомимо деятельным режиссером — и наконец в начале июня сели на корабль, который возвратил их на родину. Дети и друзья встретили путешественников в их доме на Девонширской террасе. Диккенс выскочил из кареты и целовал своих малюток через решетку, не имея терпения дождаться, пока отворят ворота.

ГЛАВА VI

Американские заметки. — Бродстерс и Корнуолл. — Салон графа д'Орсе. — «Мартин Чезлвит». — Италия. — «Колокольный звон». — Венеция. — Рим. — Неаполь

Немедленно по возвращении из Америки Диккенс принялся за приготовление к печати своих «American Notes» («Американских заметок»). «Я не упоминаю, — говорит он в конце своей книги, — о приеме, оказанном мне, я не хотел допустить его влияния на мои „Заметки“, в противном случае я слишком плохо заплатил бы тем заатлантическим благосклонным читателям моих прежних произведений, которые протягивали мне руку для дружеского пожатия, а не для надевания на меня железного намордника». Книгу свою он посвящает тем из американцев, которые, любя свою страну, могут выслушать о ней правду, сказанную без злости, с добрыми намерениями. Из этого посвящения видно, что Диккенс вовсе не намеревался заплатить лестью за оказанный ему торжественный прием.

Он ехал в Америку, мечтая увидеть в Новом Свете обновленное молодое общество, чуждое пороков и предрассудков Старого, проникнутое идеями равенства, свободы, быстрыми шагами идущее по пути прогресса. Мы уже видели, как почти с первых шагов его ждало разочарование, и под влиянием этого разочарования он едко бичует как пороки американского народа и недостатки его общественных учреждений, так и разные комические стороны внешних форм общежития. Самохвальство и самоуверенность американцев, их ханжество и лицемерие, продажность и преклонение перед долларом — ничто не ускользнуло от его наблюдательности; холодное равнодушие к положению заключенных в тюрьмах, узкая партийность народных представителей в законодательных собраниях, низкий уровень журналистики и особенно рабство, — рабство как язва, разъедающая весь организм Штатов, — все нашло в нем неподкупного обличителя.

Он предчувствовал, что книга его встретит недружелюбный прием в Америке, — и действительно, вся американская пресса, за немногими исключениями, ополчилась на него: его обвиняли в неблагодарности, в низком недоброжелательстве, называли глупым подлецом, клеветником. Все эти обвинения мало трогали его. «Я знаю, — пишет он, — что благодаря моей книге я не

потеряю по ту сторону океана ни одного из друзей, заслуживающих этого имени. Что касается прочих читателей, то надеюсь, что они со временем поймут те чувства и намерения, которые руководили мною, и я буду спокойно ожидать этого времени».

Не смущаясь газетных нападок, он с увлечением предался любимой работе, а в промежутках совершал небольшие экскурсии то на берег моря, то внутрь страны. Вот как описывает он сам себя на своей приморской даче в Бродстерсе: «Перед широким окном нижнего этажа сидит обыкновенно с девяти часов утра до часу джентльмен с длинными волосами и без галстука; он пишет и в то же время смеется, как будто находит себя очень остроумным. В час он исчезает и, появляясь из купальной будочки в виде красноватого дельфина, плещется в водах океана. После этого вы можете увидеть его у другого окна уничтожающим сытный завтрак; затем он отправляется на прогулку миль за двенадцать или лежит на песке и читает книгу. Никто не надоедает ему, Когда у него нет охоты разговаривать, и он вообще чувствует себя превосходно. Он черен, как ежевика, и, говорят, доставляет немало дохода трактирщику, продающему пиво и холодный пунш, — но это клевета».

Осенью 1842 года Диккенс в обществе Форстера и двух художников, Мэклиза и Стенфилда, предпринял поездку в Корнуолл. Частью в экипаже, частью пешком друзья обошли весь юго-западный берег Англии, посетили горы, освященные легендой «Круглого Стола», поднялись на вершину Св. Михаила, любовались живописными развалинами, таинственными пещерами и величественным зрелищем солнечного заката с высоты мыса Ландс-Энд.

«Дух красоты и дух веселости были нашими постоянными спутниками, — пишет об этом путешествии Диккенс. — Никогда в жизни я так не смеялся, как в эти дни; на Стенфилда находили такие припадки удушливого хохота, что мы должны были несколько раз колотить его по спине своими мешками, чтобы привести в чувство».

В Лондоне Диккенс был постоянным желанным гостем в знаменитом в то время Горхаузе, салоне леди Блессингтон и графа д'Орсе. В этом салоне собиралось избранное общество. В нем сходились как политические деятели всех партий, так и люди, известные в литературе, науке, искусстве. Сэр Эдвард Литтон Бульвер произносил здесь страстные радикальные речи, поэт Броунинг декламировал свои стихотворения, принц Луи Наполеон (впоследствии Наполеон III) улыбался своей молчаливой, загадочной улыбкой. Диккенс по возвращении из

Америки сделался царем всех празднеств в салоне. Он устраивал театральные представления, предлагал тосты, произносил остроумные спичи, рассказывал и показывал в лицах забавные сцены из американской жизни.

Среди этих развлечений Диккенс не оставлял работы. Покончив с «Американскими заметками», он принялся за новый большой роман — «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» («The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit»). Основной фигурой романа является Пексниф, этот бессмертный тип английского Тартюфа; основным мотивом служит эгоизм в различных его проявлениях. «Я считаю „Чезлвита“ несравненно выше моих предыдущих произведений», — говорил о нем Диккенс. Действительно, хотя и в этом романе — как в большинстве романов Диккенса — хромает построение и развитие интриги, но по своему содержанию и психологическому анализу он принадлежит к наиболее глубоким произведениям автора. Во второй части романа один из его героев, молодой Мартин Чезлвит, отправляется искать счастья в Америку, и это дает автору повод еще раз вернуться к возмутившим его явлениям американской жизни: тут мы опять встречаем надменных янки, презирающих весь свет, за исключением Америки, торгашей, эксплуатирующих бедность и невежество, высокомерных неучей-писак, снова встречаем негра, изувеченного рабовладельцем, толпу несчастных эмигрантов на нижней палубе парохода, жалкое поселение среди девственных лесов и убийственных болот. Опять Диккенс изощряет свой юмор над всеми этими плюющимися, суетящимися, хвастающимися янки, и нельзя не сознаться, что юмор этот далеко не отличается тем добродушием, с каким автор относится к недостаткам своих сограждан. Невольно думается, что те нападки, какими встретили его «Американские заметки» за океаном, значительно подбавили горечи в описание американских похождений Мартина.

Неудивительно, что роман этот не смягчил озлобления американской прессы против Диккенса, но странно, что и в Англии он встречен был гораздо холоднее, чем его предшественники. «Пиквик» и «Никльби» разошлись в количестве сорока и пятидесяти тысяч экземпляров, первые номера «Часов мистера Гумфри» — в шестидесяти и семидесяти тысячах экземпляров, между тем как ни один из выпусков «Мартина» не имел более двадцати трех тысяч покупателей. Это показалось горьким разочарованием и для автора, и для издателей. Издатели, заплатившие тридцать пять тысяч рублей за рукопись, видели, что на этот раз им не удастся провернуть такой блестящей аферы, как с предыдущими произведениями Диккенса,

и не скрыли от него своего неудовольствия. Диккенс был и огорчен, и раздосадован.

С одной стороны, его возмущала неделикатность издателей, получивших благодаря ему громадные выгоды; с другой — ему представлялось, что он уже надоел публике, что имя его слишком часто появляется в печати, что для возвращения себе прежней популярности он должен на время перестать печататься. Между тем ему было необходимо зарабатывать деньги. Та жизнь, которую он устроил себе и своей семье, требовала больших расходов; содержание отца и братьев стоило ему очень дорого; кроме того, ему приходилось тратить значительные суммы на дела благотворительности, на помощь частным лицам и общественным учреждениям, обращавшимся к нему с просьбами. После сравнительно слабого успеха «Чезлвита» он решил, во-первых, выбрать себе новых издателей, во-вторых, уехать со всей семьей на год или два из Англии и поселиться на материке, где жизнь дешевле, чем в Лондоне. Но прежде чем предпринять задуманное путешествие, он написал и издал свою первую рождественскую сказку «Carol». Эта небольшая вещица, про которую Теккерей говорил: «Можно ли критиковать эту книгу? Она представляется мне национальным приобретением, благодеянием для каждого, кто ее прочтет», — должна была доказать Диккенсу, что он несправедливо боялся охлаждения публики: в течение всего Рождества его засыпали письмами, часто полуграмотными, но исполненными самых искренних чувств. Корреспонденты благодарили его, поверяли ему свои домашние дела, рассказывали, как читали всей семьей его рассказ, как будут беречь его, какую пользу принесет он им.

Италия давно манила Диккенса. Так как в то время железных дорог было мало, то он купил карету гигантских размеров, устроился в ней с женой, свояченицей, пятерыми детьми (после возвращения из Америки у него родился еще сын), горничной, курьером и проехал так через всю Францию до Марселя, откуда вся семья морем переправилась в Геную. В Генуе Диккенсы заняли один из старых дворцов, сдававшихся внаймы. Это было великолепное здание с залами, расписанными фресками, с мраморными полами, с большими балконами, с террасами, на которых били фонтаны, с большим садом, где зеленели оливы, спели апельсины, пышно цвели камелии. Из окон дома, расположенного на возвышении, открывался в одну сторону вид на город, в другую — на море. Диккенс восхищался всем: и великолепием своего помещения, и живописными окрестностями города, и приветливым добродушием итальянцев, с которыми он очень скоро выучился говорить на их родном языке. Но ничто так

не пленяло его, как море. «Никакая картина, никакое описание, — говорит он в своих письмах, — не могут дать понятия об ужасающей, торжественной, непроницаемой синеве его. Оно производит впечатление чего-то всепоглощающего, безмолвного, бездонного; я уверен, что именно оно внушило мысль о Стиксе. Так и кажется, что несколько капель, одна горсть его может все смыть с вашей души, превратить ваш ум в одну большую лазоревую пустоту». Первые месяцы жизни в Италии Диккенс только любовался всем окружающим, вполне отдыхая от лондонских работ и неприятностей, но в конце осени его опять потянуло к письменному столу. И как только он взялся за перо, мысль его унеслась далеко от красавицы Генуи, от роскошной южной природы, она неудержимо повлекла его назад в сырой, туманный Лондон, в грязные узкие переулки, в темные жилища бедняков. Картины, виденные им во время уединенных прогулок по закоулкам столицы Англии, теснились в его мозгу, ему хотелось создать из них что-нибудь сильное и в то же время трогательное, но общей рамки, которая замыкала бы эти картины, придавала бы им единство, не являлось в его воображении. Однажды утром, когда он сидел в своем кабинете перед чистым листом бумаги и напрасно придумывал заглавие для своего нового произведения, в одной из церквей Генуи раздался серебристый звон маленького колокола; колокола других церквей ответили ему, и все их разнообразные звуки — веселые, грустные, торжественные — слились в один мощный гул. И вот романисту представилось, что образы, беспорядочно теснившиеся в его мозгу, соединяются с этими звуками, что эти звуки должны принести совет и утешение одним, должны разбудить милость и сострадание в сердцах других. Он вывел крупными буквами заглавие: «Колокольный звон» («The Chimes»), и с этого дня лихорадочно принялся за работу. «Мой рассказ, — пишет он Форстеру, — преследует меня целые дни, он овладел мною и влечет меня по своему произволу». «С тех пор, — говорит он в другом письме, — как при начале второй части я представил себе, что должно случиться в третьей, я страдал и волновался, как будто все это происходило в действительности. Я не спал по ночам. Кончив писать вчера, я должен был на время запереться у себя в комнате, так как лицо мое до смешного опухло от слез».

Привыкнув ничего не печатать без предварительной цензуры Форстера, он и новый рассказ посылал к нему по частям, но это его не удовлетворило: ему захотелось видеть, какое впечатление произведет на друзей эта новая рождественская сказка, хотелось самому посмотреть, как она будет напечатана и проиллюстрирована. И вот в ноябре, несмотря на все трудности

зимнего пути, Диккенс отправился в Лондон и прочел свой «Колокольный звон» в квартире Форстера избранному кружку друзей. Художник Мэклиз набросал изящную картинку этого собрания, хранящуюся в Кенсигтонском музее в Лондоне. Диккенс читает за столом, и яркий свет канделябра образует как бы ореол вокруг его головы; по правую сторону его сидит Фокс, по левую Карлейль; дальше Джерольд, художники Мэклиз и Стенфилд и брат Диккенса; Дайс и Гернесс плачут, закрыв глаза платками; в углу, в кресле, Джон Форстер, вся поза и выражение лица которого говорят о восторженном удивлении. Успех чтения был полный, и горячие похвалы друзей вполне вознаградили автора за неудобства путешествия.

На пути в Англию Диккенс посетил города Северной Италии: Парму, Модену, Болонью, Венецию, Верону и Мантую. Особенно сильное впечатление произвела на него Венеция: «До сих пор я никогда не видел ничего, что не решался бы описать, — говорит он в письме к Форстеру, — но я чувствую, что описать Венецию невозможно. Все волшебные картины „Арабских ночей“ ничто перед церковью Св. Марка. Чудная, роскошная действительность Венеции превосходит фантазию самого необузданного мечтателя. Опиум не может создать такого города, волшебство не может вызвать такого призрака. Все, что я слышал о ней, все, что читал в стихах и прозе, все, что я воображал, далеко не соответствует действительности. Когда я стоял в светлое, холодное утро на Пиацце, величие этой площади казалось мне невыносимым. Когда из этого света я погрузился в мрачное прошлое города, в его страшные тюрьмы под водой, его мрачные судилища, потайные ходы, где факелы меркнут в руках проводников, как будто не вынося воздуха, пропитанного ужасами прежних дней; когда я снова вышел в лучезарный, волшебный город настоящего и затем меня еще раз окутал мрак, мрак громадных церквей, древних могил — я почувствовал в себе новое ощущение, новую память, новую душу. С этих пор Венеция составляет часть моего мозга».

Вернувшись из Лондона, Диккенс вместе с женой и свояченицей совершил путешествие по Южной Италии. Рим на первых порах разочаровал романиста: ему казалось, что широкие улицы, нарядные магазины, обыкновенные экипажи, деловой вид прохожих — все это придает отпечаток пошлости и обыденности вечному городу. Только вид древних развалин, и особенно Колизей, примирил его со «столицей мира». Зато никакие красоты природы и искусства не могли примирить его с грязью и нищетой неаполитанских лаццарони. Он находил, что нельзя говорить о живописных видах, когда перед глазами стоит вся эта масса жалких, полунагих, голодных, грязных, изъеденных

паразитами людей. Неаполитанский способ погребения бедняков возмущал его: «Каждый день по городу разъезжает телега, которая забирает трупы из тюрем, госпиталей, лачуг и свозит их на кладбище. Там вырыто триста шестьдесят пять колодцев, прикрытых большими камнями. Каждый вечер открывают один из колодцев, выбрасывают туда трупы, заливают их известкой, заваливают камнем, и дело кончено. Ужасно!»

Возвратясь в Геную, Диккенс принялся приводить в порядок и посылать Форстеру в форме писем заметки о своем путешествии по Италии. Заметки эти появились впоследствии в газете «Daily News», а затем вышли отдельной книгой под заглавием «Картины Италии» («Pictures from Italy»). Хотя они значительно уступают «Американским заметкам», но и в них видна рука мастера, виден оригинальный ум — ив оценке произведений искусства, и в мелких сценах из обыденной жизни народа.

ГЛАВА VII

Новые литературные проекты. — Лето и осень в Швейцарии. — Начало романа «Домби и сын». — Новая рождественская сказка. — Зима в Париже. — Театральные представления. — Публичные речи

Меньше года провел Диккенс в Италии, а его уже потянуло домой, на Девонширскую террасу. Кроме постоянной, неизменной любви к Лондону, его влекли проекты новых изданий. Он мечтал снова издавать дешевый еженедельный журнал вроде «Часов мистера Гумфри», но, пока друзья его обсуждали, как обставить это издание наиболее удобным и выгодным для него способом, в голове его созрел другой проект — проект большой ежедневной политической газеты, которая не являлась бы органом частных лиц или партий, а постоянно стояла бы на страже справедливости, постоянно защищала бы права и интересы народа.

Это было тревожное время в Англии. «Некоронованный король» Ирландии О'Коннель, а с ним и несколько других вождей ирландского движения были арестованы и приговорены к тюремному заключению; это развязало руки более радикальной партии в стране, не отступавшей перед насилием для достижения своих националистических целей. В самой Англии борьба между фритредерами и протекционистами все более и более обострялась. Неурожай хлеба и болезнь картофеля, грозившие стране голодом, возбуждали народное негодование против «хлебных законов». Вне двух больших партий, искони разделявших парламент, образовалась третья — партия сторонников уничтожения ввозной пошлины на хлеб. Она провозгласила своим лозунгом дешевый хлеб для народа и вербовала в свои ряды и вигов, и тори. Диккенс никогда не был политиком в настоящем смысле слова. Вопрос, разделявший общественное мнение, был близок его сердцу исключительно с точки зрения гуманности, сострадания к нуждающемуся населению, и он жаждал принять участие в борьбе. Напрасно его отговаривал вечно осторожный Форстер, напрасно представлял ему, что занятие ежедневной газетой отвлечет его от прямого призвания и губительно подействует на его здоровье. «Я согласен со всеми Вашими доводами, — отвечал ему Диккенс, — но мне кажется, что именно в наше время необходимо приложить свои

силы к такому делу; именно теперь можно надеяться устоять в борьбе или отступить без серьезных уронов. Кроме того, я предчувствую, что здоровье мое скоро ослабеет, популярность померкнет, и я не могу отказаться от представляющегося мне случая сделать полезное дело. Какое значение имеют все мои прежние писания, если народ, за который я намерен стоять, не поддержит меня?»

И он со своей обычной страстностью принялся за подготовку первых номеров газеты, которая под заглавием «Daily News» должна была выходить с января 1846 года. Предсказания Форстера сбылись. Мелочная хлопотливая работа, требуемая изданием ежедневной газеты, была не по силам Диккенсу. 21 января он с торжеством объявляет другу: «Мы вышли раньше "Times'a"», а 9 февраля уже пишет, что смертельно утомлен, и намекает на желание отказаться от редактирования. Форстер поддержал его в этом намерении, и он в феврале же вышел из редакции, хотя имя Диккенса продолжало красоваться в столбцах газеты. В ней печатались его «Письма из Италии», в ней же поместил он свои статьи о школах для оборвышей и о смертной казни. Газета сохранила программу, в разработке которой он участвовал, и «Daily News» долгое время считалась одним из прогрессивных органов английской печати.

К Рождеству 1845 года Диккенс, по примеру прошлых лет, выпустил в свет сказку, прекрасный рассказ «Сверчок за печкой» («The Cricket on the Hearth»), разошедшийся в огромном количестве экземпляров, а весной опять со всей семьей отправился за границу, на этот раз — в Швейцарию.

Он поселился в Лозанне на берегу Женевского озера, в небольшой уютной вилле, и первые письма его наполнены восторженными описаниями швейцарской природы и швейцарцев. Горы производили на него чарующее впечатление удивительным разнообразием своих форм и оттенков. «Они принимают всевозможные цвета, являются то серыми или черными, то ослепительно белыми, — писал он. — Иногда кажется, что они совсем близко, иногда они как призраки теряются в облаках и тумане; одно в них неизменно: их несокрушимое величие».

В Лозанне, как и во всех местах, где ему случалось жить, Диккенс обратил внимание на тюрьмы и благотворительные учреждения. Он близко сошелся с тюремным доктором и с удовольствием узнал от него, что швейцарское правительство после непродолжительного опыта отказалось от американской системы одиночного заключения. Доктор читал «Американские заметки» и нашел у лиц, подвергнутых одиночному заключению, совершенно те же признаки, какие Диккенс заметил у

заключенных в Филадельфии и Питсбурге. Диккенс часто посещал институт слепых. Раньше он восхищался подобным учреждением в Бостоне, теперь он с большим интересом следил за успехами воспитанников доктора Гольдиманда. Особенное его участие возбуждали глухонемые слепцы. Страницы, посвященные известной Лоре Бриджмен, принадлежат к числу наилучших в его «Американских заметках». В Лозанне он принимал самое живое участие в судьбе одной маленькой слепоглухонемой идиотки и от души радовался, когда один глухонемой слепец научился узнавать его и произносить: «Господин Диккенс дал мне сигару».

Швейцарский народ нравился Диккенсу. «Они не так грациозны и изящны, как итальянцы, — говорит он, — у них не такая приятная манера обращения, как у некоторых французских крестьян, но они замечательно благовоспитанны (школы в этом кантоне поставлены превосходно) и на всякий вопрос готовы дать учтивый и удовлетворительный ответ. Их трудолюбие, опрятность, аккуратность неподражаемы». От его наблюдательности не ускользнуло различие между протестантскими и католическими кантонами: «С одной стороны — чистота, довольство, промышленный дух, образованность, постоянное стремление к прогрессу, — замечает он, — с другой — грязь, невежество, нищета, недовольство». Швейцарские наблюдения еще более усилили в Диккенсе то неблагоприятное мнение об иезуитах и католическом духовенстве, которое он вывез из Италии.

Пока романист жил в Лозанне, в Женеве произошла известная революция 1846 года, когда протестанты свергли Великий Совет, противившийся изгнанию иезуитов, и учредили временное правительство. Описав этот переворот Форстеру, Диккенс говорит: «Все мои симпатии на стороне радикалов; я говорю и повторяю это без всякого стеснения, хотя говорить подобные вещи здесь считается в высшей степени неджентльменским. Здешние свободолюбивые граждане имеют полнейшее право ненавидеть католичество не как религию, а как фактор социального упадка. Они его хорошо знают. Они видят его за горами в соседней Италии и могут сравнивать влияние двух различных систем в своих собственных долинах; их отвращение, их страх перед допуском в города католических священников и папских эмиссаров представляется мне самым естественным чувством в свете. Кроме того, Вы не можете себе представить нахальство и дерзость маленькой женевской аристократии: это самая смешная карикатура на известные нам явления английской жизни. Их толки о „черни“, о „толпе“, о необходимости подстрелить несколько человек для примера прочим — просто

чудовищны. Газеты их отзывались о народе с самым нелепым презрением. Трудно поверить, чтобы люди в общем здравомыслящие могли быть такими ослами в политике».

Кроме швейцарских знакомых, с которыми Диккенс, по своему обыкновению, очень скоро сошелся на дружескую ногу, в Лозанне жила целая колония образованных симпатичных англичан, с удовольствием принявших в свой кружок романиста и его семью. С ними Диккенсы совершали прогулки по окрестностям и более длинные экскурсии в горы, им же Диккенс прочел первые главы своего романа «Домби и сын». Лондонские друзья тоже временами навещали хорошенькую виллу на берегу Женевского озера; все соединилось, чтобы сделать Диккенсу жизнь приятной, и он действительно чувствовал себя отлично, пока не принялся серьезно за работу.

Через несколько недель по приезде в Лозанну он торжественно объявил Форстеру: «Я начал „Домби“». В то же время в голове его неопределенно вырисовывался план новой рождественской сказки. Затруднительность создания одновременно двух произведений сказалась в этот раз сильнее, чем когда-нибудь, так как ни один из задуманных рассказов еще не представлялся ему в целом, стройном виде. Несколько раз приходило ему в голову, что он должен или отказаться от намерения издавать в этом году рождественскую сказку и посвятить себя исключительно роману, или, напротив, отложить роман, пока не закончит сказку. Но и то и другое было для него равно невозможно. Он по обыкновению так сживался со своими героями, так увлекался сам их судьбой, что не в состоянии был по произволу бросить их: они всюду преследовали его и не давали ему покоя.

Другое препятствие, затруднявшее Диккенса в его работе, представляется гораздо более странным: это отсутствие большого города, уличного движения. «Вы не можете себе представить, как мне нужны улицы, — писал он. — Они как будто дают какую-то пищу моему мозгу, без которой он не может обойтись, пока работает. Я могу писать неделю или две в уединенном месте, но непременно должен съездить хоть на день в Лондон, чтобы отдохнуть и возбудить себя. Писать день за днем без этого волшебного фонаря необыкновенно трудно. Все мои фигуры как будто замирают, когда вокруг них не движется толпа. Я очень мало писал в Генуе и испытывал подобное же ощущение, но там у меня было хоть мили две улиц, освещенных ночью, и театр, в котором я мог отдыхать по вечерам». «Отсутствие улиц, — говорит он в другом письме, — продолжает мучить меня самым странным образом. Это положительно какая-то мозговая болезнь;

если бы они были здесь, я, право, не стал бы ходить по ним днем; но ночью я чувствую в них сильнейшую потребность. Я положительно не могу освободиться от преследующих меня призраков, пока не затеряю их где-нибудь в толпе». Тоска по городу дошла у него до того, что он должен был съездить на несколько дней в Женеву. Благодаря этой поездке он смог в октябре закончить рождественскую сказку, которая и вышла в декабре под заглавием «Жизненная борьба; любовная история» («The Battle of Life; a Love Story»). После этого Диккенс занялся исключительно романом «Домби» и решил провести зиму в Париже, улицы которого могли, по его мнению, заменить ему лондонские.

Париж времен Луи Филиппа произвел неприятное впечатление на романиста. В воздухе чувствовалось что-то недоброе. С одной стороны, Диккенс замечал нищету населения, из-за которой в городе процветали воровство и грабежи на самых людных улицах, с другой — его удивляли беззаботность и легкомыслие обеспеченных классов. «Вот уже несколько дней, — пишет он, — как все политические, художественные и коммерческие вопросы исчезли из газет: вся пресса, все общество занято аукционом вещей одной дамы полусвета, Марии Дюплесси, оставившей роскошную обстановку и великолепные бриллианты. Восхищение и симпатия к ней публики превосходят всякое описание; они достигли высшей степени, когда Эжен Сю купил ее молитвенник». Весьма распространенный культ Наполеона, поощряемый орлеанистами, представляется Диккенсу крайне подозрительным. «Кто знает, не улыбнется ли счастье нашему молчаливому знакомому в Горхаузе?» — замечает он, намекая на принца Луи Наполеона.

Ни одно из общественных учреждений Парижа не осталось неосмотренным Диккенсом; он всюду побывал: в тюрьмах, во дворцах, в больницах, на кладбищах, в знаменитом Морге, в Лувре, Версале, Сен-Клу, во всех местах, ознаменованных событиями первой революции. Французские театры сильно увлекали его, и он большую часть вечеров проводил в каком-нибудь из них. Ему удалось завести знакомство почти со всеми знаменитостями тогдашнего литературного мира Парижа: он бывал у Дюма, Сю, Теофиля Готье, Карра, Скриба, виделся с Ламартином и Шатобрианом, был у Гюго. Гюго жил в то время на углу Place Royal, в старом аристократическом квартале, в доме, убранном старой аристократической мебелью, с великолепными коврами, с разрисованными потолками, с золотыми креслами. Среднего роста, довольно плотный, с длинными черными волосами, обрамлявшими гладко выбритое лицо, со спокойными,

величавыми манерами, быстрым взглядом умных глаз и необыкновенно приятной улыбкой, он очаровал Диккенса своей живописной французской речью, своими сочувственными отзывами об английском народе и литературе, той тонкой лестью, с какой говорил о его произведениях. Он познакомил романиста со своей женой и молоденькой дочерью, и они провели целый вечер в мирной беседе, точно старые друзья.

Болезнь старшего сына, учившегося в Королевской коллегии в Лондоне, заставила Диккенса сократить свое пребывание в Париже и вернуться в Англию. «Домби и сын» начал выходить в его отсутствие ежемесячными книжками и расходился в огромном количестве экземпляров. Благодаря этому материальное положение романиста оказалось вполне стабильным, и вопрос о денежных средствах перестал омрачать его жизнь. Он не стал задумывать никакого нового произведения, пока не закончил «Домби», а свободное время посвятил другому искусству, которое давно манило его. Диккенсу всегда казалось, что его настоящее призвание — быть актером, и только неожиданный, колоссальный успех «Записок Пиквикского клуба» заставил его посвятить себя литературе. Но он всегда с величайшим удовольствием принимал участие в любительских спектаклях. Вернувшись из Италии, Диккенс с компанией молодых писателей нанял зал маленького частного театра и с таким успехом дал одну остроумную пьесу Бена Джонсона, что ее пришлось повторить на более широкой публике с благотворительной целью. По возвращении из Парижа романист принял самое деятельное участие в устройстве целого ряда спектаклей: сначала в пользу нескольких литераторов, а затем в пользу «Общества покровительства литературе и искусству». Целая компания молодых писателей, художников и актеров, во главе которой стояли Диккенс и Эдвард Литтон Бульвер, давали представления в течение нескольких лет в Лондоне и других больших городах Англии и Шотландии. Диккенс был душой всего предприятия. Он мастерски исполнял комические роли и, кроме того, брал на себя обязанности не только режиссера, но также машиниста, декоратора и суфлера. Он помогал плотникам, изобретал костюмы, составлял афиши, писал пригласительные билеты, репетировал роли со всеми актерами. Его неутомимая деятельность и неистощимая веселость всех возбуждали и оживляли. Он больше всех работал и на утренних репетициях, и на вечерних представлениях, а за ранними обедами и поздними ужинами, на которые собиралась вся труппа, он хохотал громче всех, шутил всех остроумнее, болтал всех веселее.

Успех этих театральных представлений был громадный. Все

билеты обыкновенно раскупались заранее, толпы зрителей из интеллигенции и аристократии наполняли залы. Королева Виктория пожелала увидеть на сцене автора, с произведениями которого была хорошо знакома, и просила его устроить одну из генеральных репетиций в Букингемском дворце. Диккенс отвечал почтительным письмом, в котором заявил, что считает несовместимым с достоинством писателя ходить забавлять даже коронованных особ, и просил ее величество почтить своим присутствием одно из представлений в его собственном доме. Королева согласилась, приехала вместе с наследным принцем, осталась очень довольна спектаклем и по окончании его пожелала, чтобы Диккенс представился ей. Но и эту честь романисту пришлось отклонить. «Я просил передать, — пишет он, — что, надеюсь, королева простит мне, но что я считал бы достоинство писателя униженным, если бы явился к ней в костюме скомороха». Ее величество не настаивала более. Свидание романиста с королевой состоялось гораздо позже, уже в 1870 году, после его вторичного посещения Америки. Диккенс привез фотографические снимки с полей битв, происходивших во время войны за освобождение, и королева пожелала, чтобы он сам показал их ей. Она очень долго и дружелюбно разговаривала с ним и в заключение подарила ему экземпляр своего «Шотландского дневника», сказав, что это приношение самого скромного одному из самых великих современных писателей.

Кроме театральных подмостков, Диккенсу очень часто приходилось являться перед публикой в качестве оратора на разных митингах, торжественных собраниях и обедах. Всякое общество, имевшее целью распространение просвещения в народе или оказание помощи неимущим, приглашало его, зная, что его присутствие привлечет массу публики. Он обыкновенно говорил просто, убедительно, иногда остроумно, без всяких громких, напыщенных фраз. Он указывал на великое значение науки и знания, на страшную несправедливость наказывать людей за совершаемое ими зло, когда они лишены средств узнать добро, на необходимость путем народных библиотек и популярных лекций распространять как можно шире блага просвещения. «Только не забывайте, — добавлял он, — что знание имеет ограниченное влияние, когда оно служит для развития исключительно головы; но когда оно в одинаковой степени развивает сердце, тогда оно является силой, господствующей над жизнью и смертью, над душой и телом, — силой, покоряющей мир».

ГЛАВА VIII

«Домби и сын». — «Дэвид Копперфилд». — Смерть отца и дочери. — Новый журнал. — «Холодный дом». — Страсть к путешествиям. — Усталость. — Париж

Роман «Домби и сын» («Dombey and Son») был окончен Диккенсом весной 1848 года и с самых первых выпусков завоевал себе симпатии публики. Ни один писатель не обладал такой способностью создавать живые детские образы, как Диккенс, и ни один из детских образов не удался ему так, как маленький Пол Домби. Этот крошечный человечек, сидящий в креслице у камина и задающий глубокомысленные вопросы, с первого появления своего на страницах романа стал близок и дорог всем читателям. В Англии, во Франции, в Америке десятки тысяч читателей оплакивали его смерть, точно смерть члена своей собственной семьи. Как «Чезлвит» представляет нам эгоизм в разных его формах, так в «Домби» мы видим олицетворение гордости. Все чувства, все жизненные интересы мистера Домби сосредоточены на величии его торговой фирмы. Дочери для него не существует, так как ее имя не может придать блеска фирме, сын для него главным образом — «Домби и сын». Гордая, страстная Эдит, вторая жена Домби, представляет собой резкую противоположность кротким добродетельным героиням Диккенса.

Летний отдых на берегу моря по окончании «Домби» был омрачен для романиста смертью его любимой сестры Фанни, талантливой певицы, с успехом выступавшей на сцене небольших театров. Очень возможно, что эта смерть дорогой свидетельницы и участницы страданий первых лет его жизни заставила Диккенса особенно часто переноситься мыслью к воспоминаниям детства и внести много автобиографических черт в новое произведение, план которого стоял перед ним еще в тумане. Он давно начал писать свою биографию, с тем чтобы она была издана после его смерти, но потом отказался от этого намерения и не пошел дальше первых листов. Задумав писать новый роман от первого лица, он решил ввести в него, конечно в значительно измененном виде, многие эпизоды из своей биографии. Но прежде чем план романа окончательно прояснился в его голове, он выпустил новую рождественскую сказку «Духовидец» («The Haunted Man»), начатую им еще в предыдущем году. Сказка эта разошлась в

таком же громадном количестве экземпляров, как и ее предшественницы, и, переделанная в комедию, имела большой успех на сцене.

С начала 1849 года все мысли Диккенса были заняты новым большим романом. Первые главы продвигались у него очень туго: «Я знаю, что мне надобно делать, но тащусь вперед, точно тяжело нагруженный дилижанс, — писал он. — Я в унылом настроении, и длинная перспектива „Копперфилда“ представляется мне окутанной холодной, туманной мглой». Но по мере того как он писал, рассказ все более и более захватывал его. Он всегда жил и страдал вместе со своими героями, — а тут примешивались еще и личные воспоминания, отрывки собственной истории. «О, если бы я мог передать Вам, — писал он Форстеру, — хоть половину того, что перечувствовал, пока писал „Копперфилда“! Мне кажется, как будто с этой книгой я посылаю в туманный свет часть самого себя!» Диккенс долго колебался, как устроить судьбу жены-ребенка, Доры — этого прелестного создания, которое будило в нем давно уснувшие воспоминания о первой юношеской любви. Девятнадцати лет он влюбился в молодую девушку, послужившую прототипом Доры, и эта любовь, продолжавшаяся целых четыре года, поддерживала его в энергичных стараниях создать себе прочное общественное положение. Неожиданно блестящий успех увенчал его усилия, — но в любви он не был так счастлив, как Дэвид Копперфилд: его «Дора» отдала свою руку другому, а сам он несколько месяцев спустя женился на мисс Гогард, не имевшей сходства ни с Дорой, ни с Агнессой.

Другая фигура, списанная Диккенсом с живого и притом очень близкого человека, — это мистер Микобер, прототипом для которого послужил ему отец — Джон Диккенс. Сцены в тюрьме, денежные затруднения, блестящие, никогда не сбывающиеся надежды и фантастические планы обогащения — все эти картины взяты с натуры. Любовь Микобера к торжественным речам, его цветистый слог, даже многие из выражений его прямо заимствованы у Джона Диккенса. Некоторые строгие критики расценили такое изображение отца в романе как признак сыновней непочтительности; но всякий беспристрастный судья заметит, что юмор, с которым Диккенс рисует своего Микобера, полон добродушия и симпатии, невольно передающейся читателю. Через несколько месяцев после создания Микобера прототип его сошел в могилу, и смерть эта глубоко потрясла Диккенса. Почти одновременно пришлось ему потерять и свою младшую дочь, маленькую Дору, названную так в честь героини нового романа, и он долго не мог оправиться от этого двойного удара.

В начале 1850 года осуществилась, наконец, давнишняя мечта Диккенса издавать журнал. Это издание, в котором он до конца жизни принимал участие, называлось сначала «Household Words», а затем, после 1859 года, «All the Year Round» и должно было, как говорилось в его программе, давать «полезное и приятное чтение всем классам общества и содействовать выяснению главнейших вопросов современной жизни». В нем помещались поэтические произведения, романы, повести и популярные статьи по разным животрепещущим вопросам жизни и литературы. Диккенс особенно настаивал на том, чтобы не придавать ему узко утилитарного направления. «Пусть, читая наш журнал, — говорит он, — каждый труженик сознает, что, несмотря на его тяжелую долю, и для него открыт мир фантазии и нежных чувств».

Журнал в значительной степени оправдал надежды Диккенса. «Household Words», а затем и «All the Year Round», отличавшийся от него только названием, скоро стал одним из самых популярных периодических изданий Англии. Научные статьи его были интересны, удобопонятны, часто даже блестящи; в беллетристическом отделе мы встречаем имена лучших представителей английской литературы пятидесятых и шестидесятых годов. Кроме Диккенса, в нем участвовали Бульвер, Уилки Коллинз, Чарлз Рид, миссис Гаскел и многие другие.

Независимо от участия в журнале Диккенс издал отдельными книжками новый большой роман «Холодный дом» («Bleak House»), начатый им осенью 1851 года и законченный летом 1853 года. Центральным событием, вокруг которого вращается интрига романа, является бесконечно длинный процесс, что дает возможность Диккенсу заклеймить одну из язв английской общественной жизни — медлительность, формалистику и дороговизну английского судопроизводства. Целая фаланга всевозможных адвокатов, прокуроров, поверенных, клерков, судебных приставов и ростовщиков теснится вокруг главных действующих лиц романа и захватывает их в свои сети. В предисловии Диккенс говорит, что разные факты судебных проволочек, описанные в брошюре, изданной вполне компетентным лицом, привели его в такое негодование, что он решил придать своему произведению обличительную форму. Мы, конечно, не имеем основания усомниться в достоверности этих фактов, но нельзя не сознаться, что «густой зловонный туман, заволакивающий всю местность вокруг суда», описан слишком темными красками, что тлетворному влиянию «лорда канцлера» придан слишком трагический характер.

Страсть Диккенса к путешествиям, к перемене мест не

ослабевала, а возрастала с годами. После 1850 года он редко где жил больше шести-семи месяцев. Кроме постоянных экскурсий, — то для посещения какого-нибудь живописного уголка Англии, то с труппой актеров-любителей, — он непременно каждый год проводил несколько месяцев на берегу моря, а в 1853 и 1855 годах опять путешествовал по Европе: побывал в Швейцарии и Италии, прожил несколько месяцев в Париже. Дом на Девонширской террасе, вполне удовлетворявший его прежде, показался ему слишком тесным, и он нанял другой; приморское местечко Бодстерс, которым он бывало восхищался, надоело ему, и он стал искать новые, провел три купальных сезона в Булони, пленившей его красотой местоположения и живописной оригинальностью своих жителей-рыбаков. Беспокойная жажда перемен особенно овладевала им при замысле какого-нибудь большого произведения, когда план еще смутно вырисовывался в его мозгу, когда, по собственному выражению, он «мучился новым романом». «Я чуть не уехал третьего дня один в швейцарские горы! — пишет он Форстеру перед началом „Холодного дома“. — Нестерпимая жажда движения мучит меня, очень возможно, что на днях Вы получите от меня письмо с подошвы Монблана. Пока я сижу и думаю над новым романом, пока он все более и более выясняется мне, мучительное желание быть где-нибудь не там, где я теперь, идти куда-нибудь, сам не знаю куда и зачем, охватывает меня и гонит прочь из дому». Перед вторым выпуском «Холодного дома» он пишет: «Мне приходит дикая мысль ехать в Париж, в Руан, в Швейцарию — куда бы то ни было — и писать в комнате какой-нибудь уединенной сельской гостиницы. Мне положительно нужна перемена!»

Усиленная работа утомляла его более прежнего. «Мнительность подсказывает мне, что я слишком заработался, — говорит он в одном письме от 1852 года. — Весна не возвращается ко мне так быстро, как в прежнее время, когда я кончал работу и мог ничего не делать». Особенно надоедала ему журнальная работа: с одной стороны, своей срочностью, с другой — необходимостью применяться к форме еженедельной газеты, давать каждый раз небольшие порции, имеющие свой собственный интересный сюжет независимо от общего хода рассказа. «Трудность сообразоваться с пространством, — писал он через несколько недель после начала „Тяжелых времен“, — подавляет меня. Легко писать роман, свободно располагая материалом, а здесь это невозможно, надобно всегда иметь в виду текущий номер».

Одни только путешествия в состоянии были возвратить ему

бодрость, веселость и оживление. Все письма его к друзьям из Швейцарии и Италии, из Булони и Парижа дышат остроумием, наполнены тонкой наблюдательностью. Особенно интересны письма Диккенса из Парижа, который он видел в последние годы короля-буржуа и снова посетил девять лет спустя при наполеоновском режиме. Он прожил там полгода в конце 1855-го и начале 1856 годов, проводя все время среди писателей, художников и актеров. За последние годы популярность его во Франции сильно возросла. В фельетонах «Монитера» помещался перевод его «Мартина Чезлвита», и благодаря этому имя его стало известно массе читающей публики. «Моя приемная, — пишет он, — осаждается толпой неизвестных мне посетителей, которые горят желанием пожать руку „знаменитому английскому писателю“. Возвращаясь откуда-нибудь домой, я всегда боюсь встретить на лестнице кого-нибудь из этих посетителей, а уходя из дому, боюсь отворить дверь кому-нибудь из них. Я скрываюсь в самой отдаленной комнате своей квартиры, и мой слуга, изощрившийся в искусстве лгать, беспрестанно приносит мне всевозможные визитные карточки и книги с надписями вроде следующей: „Жабо, в знак уважения знаменитому английскому романисту Шарлю де Кен (Charles de Kean)“. Я отвечаю письмами, полными уверений в уважении и преданности, но всячески стараюсь оставаться невидимым. Вечером, когда стемнеет, я выхожу на бульвары, там мы встречаемся с Уилки Коллинзом, гуляем и затем отправляемся в театр».

Диккенс ни за что не хотел напомнить о себе «молчаливому принцу», своему бывшему знакомому по салону д'Орсе, и представиться ко двору. Он дрожал при мысли, что ему могут прислать приглашение на вечер в Тюльери или к принцессе Матильде. Чем старше он становился, тем более противны делались ему светская жизнь и приличия высшего общества. Он давно уже перестал одеваться франтом, как бывало в молодости, и теперь расхаживал по Парижу в широком синем пальто, с большой бородой, с загорелым энергичным лицом, похожий с виду на какого-то отставного моряка.

Театры по обыкновению сильно привлекали Диккенса, и он в своих письмах дает полный разбор пьес, которые шли в то время, и игры главных актеров. Политическое положение представлялось ему столь же неблагоприятным, как и в 1846 году. Тогда он предвидел близость переворота, — теперь он замечал глубокую язву, разъедавшую общественный организм: чудовищную погоню за наживой, бешеную спекуляцию, охватившую все и всех.

«Стоит остановиться около лестницы биржи часа в четыре

дня, — пишет он, — чтобы увидеть поразительное зрелище. В толпе спекулянтов толкаются блузники, люди в лохмотьях; все они волнуются, кричат, бранятся; лица у них красные, глаза блуждают и горят страстью к игре. Консьержи и им подобные люди беспрестанно стреляются или бросаются в Сену a cause des pertes sur la bourse[2]. В каждом номере французской газеты вы непременно найдете описание такого самоубийства. С другой стороны, по улицам катятся бесконечной вереницей изящные экипажи, запряженные чистокровными рысаками в дорогой упряжи, и пешеходы, глядя на них, с улыбкой говорят: „c'est la bourse“. Со времен Лоу не бывало таких колоссальных крахов, как те, которые повторяются здесь каждую неделю».

К военным действиям, происходившим в то время в Крыму, французское общество относилось вполне индифферентно. «Вчера в театре, — рассказывает Диккенс, — представление было приостановлено, и со сцены прочитано известие о победе французов в Крыму. Это не произвело ни малейшего впечатления на слушателей, и даже нанятые клакеры, считая, что по условию они не обязаны аплодировать войне, сидели тише воды. А театр был полон. При виде этой апатии нельзя думать, чтобы война была популярна, несмотря на утверждения официальных газет».

В другом письме он говорит, что видел, как проезжал император вместе с сардинским королем: «По обыкновению никто не снимал шляп и очень немногие оборачивались посмотреть на них».

Диккенс возобновил свои прежние знакомства в литературном мире Парижа и приобрел новые. Ему очень понравились Скриб и его жена; в доме Виардо он встретил Жорж Санд, которая показалась ему «совсем простой женщиной, толстой, смуглой, черноглазой матроной без всякого признака „синего чулка“». Эмиль Жирарден дал в его честь два обеда, на которых присутствовал цвет парижской интеллигенции и которые поразили Диккенса своей лукулловской роскошью. Описав цветистым слогом восточных сказок роскошь обстановки и блестящую сервировку самых редких блюд, между которыми был колоссальный пудинг, названный «Hommage a l'illustre ecrivain d'Angleterre»,[3] он говорит: «В числе гостей был маленький человек, который восемь лет тому назад чистил сапоги на улице, а теперь оказался страшным богачом, самым богатым человеком в Париже, — и все это благодаря благосклонности капризного божества, царящего на бирже. Я заметил, что, может быть, этому господину понадобится менее восьми лет, чтобы вернуться к прежнему состоянию, и лица всех присутствовавших затуманились; очевидно, все они, не исключая Жирардена,

принимают более или менее деятельное участие в той же игре».

ГЛАВА IX

«Крошка Доррит». — Семейный разлад. — Публичные чтения. — Первые приступы болезни. — Жизнь в Гадсхилле. — Железнодорожная катастрофа. — Литературные работы

Живя в Париже, Диккенс не оставлял литературной работы и прилежно трудился над «Крошкой Доррит» («Little Dorrit»). Первоначально роман должен был называться «Никто не виноват» и главным действующим лицом его являлся человек, всем причиняющий несчастья, сам того не сознавая, и восклицающий при каждой новой беде: «Ну, знаете, по крайней мере хорошо то, что никого нельзя обвинить!» Потом Диккенс отказался от этого плана и переделал начало. Вообще до тех пор ни один роман не давался ему с таким трудом, не требовал стольких помарок и переписок. Сохранились черновые тетради Диккенса, и разница между страницами, на которых написан «Копперфилд» и «Крошка Доррит», поразительна. В первом из этих произведений мысли и образы легко укладываются в известные формы — очевидно, способ выражения нимало не затрудняет автора; во втором мы часто замечаем мучительную работу поиска выражений, картин для иллюстрирования характера или положения действующих лиц. Нельзя сказать, чтобы талант оставлял его, но, очевидно, процесс творчества становился для него более затруднительным, чем прежде, он не мог с прежней легкостью наполнять страницы своих романов вереницей живых, оригинальных личностей. Читатели не замечали этой перемены. «Крошка Доррит» расходилась в огромном количестве экземпляров, и если главная героиня казалась несколько бесцветной и пресной, зато остальные члены семьи Доррит и второстепенные личности были полны жизни и юмора, а министерство Обиняков возбуждало общий интерес как едкая сатира на английскую администрацию.

Сам Диккенс не только осознавал ослабление своей творческой силы, но и значительно преувеличивал его. В своих письмах этого времени он горько жалуется на то, что писательская деятельность его приходит к концу, что никогда не вернуть ему прежней свежести мысли, плодовитости воображения. Чтобы заглушить это мучительное сознание, он с лихорадочной жадностью брался за устройство театральных представлений, за участие в политических митингах и разных благотворительных собраниях, за публичное чтение своих

произведений в пользу разных обществ и учреждений.

Не один только страх за гибель таланта мучил его в это время. «Всякий раз, когда на меня нападает уныние, — писал он своему другу Форстеру из Парижа, — я чувствую, что есть одно счастье в жизни, которого я не знал». Это было счастье в супружестве. Мы видели, что Диккенс женился очень рано на девушке, с которой он был мало знаком и которая пленила его исключительно своей красотой. Вскоре оказалось, что внутренней симпатии между супругами нет и быть не может. Спокойная, холодная, здравомыслящая красавица не понимала нервной, увлекающейся натуры романиста, относилась свысока к его причудам, к его бурной веселости, к его юмористическим взглядам на людей и часто бессознательно оскорбляла его своими пошло-разумными замечаниями и рассуждениями. Диккенс мучился, волновался. До крайности впечатлительный и самолюбивый, он придавал каждой безделице громадное значение, не довольствовался внешней уступчивостью жены, возмущался тем, что она не может смотреть на вещи с его точки зрения, что она любит светскую жизнь, готова раболепствовать перед так называемым обществом. В молодые годы это различие характеров проявлялось не особенно резко: с одной стороны, ореол славы, окружавший молодого писателя, заставлял г-жу Диккенс снисходительнее относиться к его «слабостям», с другой — сам романист, увлеченный и созданиями своей фантазии, и окружающей жизнью, гостеприимно распахнувшей перед ним свои двери, не часто задумывался над недостатками «Кетти» и от души радовался, когда она соглашалась сопровождать его в путешествиях. С годами, с упрочением материального благосостояния взаимное отсутствие симпатии проявлялось все сильнее, все мучительнее. Г-жа Диккенс ничего не имела против литературной деятельности мужа, приносившей значительный доход, но ей хотелось жить жизнью леди — спокойно, благопристойно, принимая у себя избранное общество. Диккенс не выносил ни этого однообразия, ни в особенности этого «избранного» общества. Он ставил все вверх дном в доме, чтобы превратить свою квартиру в домашний театр, он целые дни проводил с художниками и актерами и отказывался от сближения с аристократами. Наконец дело дошло до того, что совместная жизнь стала одинаково нестерпимой для обоих супругов.

«Бедная Катерина и я, мы не созданы друг для друга, — писал он Форстеру, — и этого нельзя изменить. Главное не то, что она делает меня несчастным, а то, что я делаю ее несчастной. Она всегда одинакова, как Вы знаете, всегда любезна и уступчива, но мы совсем не рождены для тех уз, которые соединяют нас. Она

была бы в тысячу раз счастливее, если бы вышла за другого человека, и это было бы лучше для нас обоих. У меня часто болит за нее сердце, когда я думаю, как это грустно, что она встретила меня на своем пути; я знаю, если бы я завтра заболел, она горевала бы, ухаживала бы за мной, но как только я выздоровел бы, прежние недоразумения возникли бы вновь; ничто на свете не может заставить ее понять меня, ничто не может сблизить нас. Ее темперамент не подходит к моему. Не думайте, что я себя оправдываю. Я знаю, что я во многом виноват, что у меня тяжелый, неровный, капризный характер, — но теперь уже ничто не может изменить меня, кроме всеизменяющей смерти».

Напрасно Форстер старался примирить супругов, доказывая Диккенсу, что ни одно супружество не обходится без тех облаков, которые омрачают его семейную жизнь; струна была слишком натянута и должна была порваться: «Не думайте, будто что-нибудь может поправить наши домашние дела, — писал ему Диккенс в ответ на его увещания, — ничто не может поправить их, кроме смерти. Мы дошли до полного банкротства и должны окончательно ликвидировать наши дела». После многих колебаний и тяжелых семейных сцен супруги разошлись наконец по обоюдному согласию в мае 1858 года. Г-жа Диккенс осталась жить в Лондоне со старшим сыном и получала от мужа по шесть тысяч рублей в год на свое содержание, остальные дети (шесть сыновей и две взрослые дочери) поселились с отцом в поместье, купленном им незадолго перед тем. Свояченица Диккенса, мисс Джорджина Гогард, последовала за ним и заменила мать его детям.

Одним из поводов к последним ссорам между г-жой Диккенс и ее мужем было непременное желание Диккенса выступить в роли публичного чтеца своих произведений. Собственно говоря, он в последние пять лет очень часто читал в многолюдных собраниях, но всегда бесплатно, с благотворительной целью. Читал он вообще мастерски, особенно свои собственные произведения, и это искусство в соединении с популярностью его имени привлекало обыкновенно массу публики. Первые чтения его в Бирмингеме в 1853 году в пользу Политехнического института имели такой громадный успех, что на него посыпались просьбы и приглашения читать из разных городов, от разных учреждений. Многие из этих учреждений предлагали ему плату за чтения, но он отказывался от денег и читал бесплатно.

Между тем по мере того, как у Диккенса росло сомнение в прочности его литературного таланта и возможности с прежним успехом продолжать писательскую деятельность, ему чаще и чаще приходила в голову мысль пользоваться для удовлетворения

материальных нужд не пером, а другим средством, находящимся в его распоряжении.

Напрасно его верный друг и советник Форстер старался отговорить его от этого плана, убеждая его, что таким образом он меняет более высокое призвание на более низкое и, являясь перед публикой в качестве актера, умаляет свое достоинство писателя. Диккенс возражал ему, что и при бесплатных чтениях он точно так же является актером, что публика, слушающая его, не справляется, кому идут деньги за билеты, что призвание актера не имеет в себе ничего унизительного. Наконец, после необыкновенно блестящих чтений в Эдинбурге, когда город устроил ему торжественную овацию и поднес в дар серебряный кубок, и в Лондоне в пользу детской больницы, он решил принять предложение антрепренера, сулившего ему громадные выгоды.

Первое платное чтение Диккенса дано было в Лондоне, в апреле 1858 года, и затем в продолжение двенадцати лет с более или менее длинными промежутками следовал целый ряд чтений в разных городах Англии, Шотландии, Ирландии и Соединенных Штатов. Чтения эти можно назвать непрерывным рядом триумфов. Во всех городах, больших и малых, билеты покупались нарасхват, залы, предназначенные для чтения, были переполнены публикой, чтеца встречали и провожали восторженные крики, громкие рукоплескания. «Вы не можете себе представить, что это было, — пишет он из Дублина. — Всю дорогу от отеля до Ротонды, около мили, мне пришлось пробиваться сквозь толпу, которой не хватило билетов. Окно в кассе разбили, предлагали по пятьдесят рублей за место. Половина моей платформы была сломана, и публика теснилась среди обломков. Каждый вечер, с тех пор как я в Ирландии, молодые девицы покупают у лакея цветы, которые были у меня в петлице, а вчера утром, когда я, читая „Домби“, нечаянно оборвал свой гераниум, они после чтения взошли на платформу и собрали все его лепестки на память». Из Манчестера он пишет: «Когда я приехал, оказалось, что уже роздано семь тысяч билетов. В зале помещается две тысячи человек и столько же должно было уйти, не найдя места. В громких приветствиях, которыми меня встретили, было столько сердечности, что в первые минуты я совсем растерялся. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного!»

В Эдинбурге зала была до того переполнена, что многие сидели на полу, а одна молодая девушка пролежала весь вечер на краю платформы, держась за ножку стола.

Самолюбию чтеца льстили не столько рукоплескания, сколько проявления чувств, которые он успел вызвать. «Я никогда не видел, чтобы люди так откровенно плакали, как они плакали о

Домби, — писал он из Белфаста. — А когда я стал читать „Сапоги“ и „Миссис Гэмп“, то я и вся публика хохотали в один голос. Они так заразили меня своим смехом, что мне трудно было сделать серьезное лицо и продолжать чтение». «Вчера утром, — рассказывает он в другом письме, — история маленького Домби сильно подействовала на одного господина. Он некоторое время плакал, не скрываясь, потом закрыл лицо обеими руками, положил голову на спинку переднего кресла и рыдал, дрожа всем телом. Он не был в трауре, но, вероятно, когда-нибудь лишился ребенка. Тут же в зале я заметил одного молодого человека, которому Тутс казался до того забавным, что он не мог удержаться от смеха и хохотал до слез. Как только он чувствовал, что на сцену должен явиться Тутс, он заранее начинал смеяться и вытирать платком глаза. Один раз при появлении Тутса он даже застонал, как будто не мог больше вынести. Это было удивительно забавно, и я от души смеялся».

Диккенса особенно трогали те выражения личной симпатии, которые ему беспрестанно приходилось замечать. «Я бы хотел, — писал он свояченице из Ирландии, — чтобы Вы и мои дорогие девочки видели, как на меня смотрят на улице, чтобы вы слышали, как после чтения меня просят: „Удостойте чести, позвольте пожать вашу руку, мистер Диккенс. Да благословит вас Бог, сэр, и за сегодняшний вечер, и за ту радость, какую вы доставляли всему моему дому в течение многих лет!“» Из Йорка он писал Форстеру: «Я почти достиг того, о чем мечтал как о величайшей для себя славе: вчера одна совершенно незнакомая дама остановила меня на улице и сказала мне: „Мистер Диккенс! Позвольте мне дотронуться до руки, которая наполнила дом мой друзьями!“»

Громадный успех нелегко давался Диккенсу. Чтения в душных залах, при громадной аудитории, беспрестанные поездки по железным дорогам, волнение, сопряженное со всяким выходом перед многочисленной публикой, — все это в высшей степени утомляло его. Он начал страдать бессонницей и часто жаловался на головные боли, на полное изнеможение. Первая серия его чтений продолжалась с весны 1858-го до зимы 1859 года; вторая — с начала 1861-го по 1863 год, а третья — в 1866 году. В промежутках между чтениями он жил с семьей в своем загородном доме. Дом этот, Гадсхилл, находится между Рочестром и Гревезендом, недалеко от Чатэма, в той местности, которая всегда была дорога романисту по воспоминаниям счастливых лет его детства. Маленьким ребенком он часто гулял мимо этого дома, с благоговением посматривая на него, и отец не раз говорил ему: «учись прилежно, трудись, тогда, может быть,

тебе и удастся жить в этом доме».

Диккенс был вне себя от радости, когда обстоятельства позволили ему осуществить мечту его детских лет и приобрести в собственность Гадсхиллскую усадьбу. Дом требовал значительного ремонта, но это не смущало его, и он со своим обычным увлечением принялся переделывать, исправлять, украшать, оставляя неприкосновенным только наружный вид старомодного двухэтажного кирпичного дома с маленькой башенкой, пленявшей его в детстве. Недалеко от дома, отрезанная от него проезжей дорогой, находилась рощица с двумя великолепными кедрами. Диккенс соединил эту рощу подземным ходом с домом и поставил в ней швейцарский шале, который получил в подарок от одного приятеля из Парижа разобранным на части. В шале он устроил свой рабочий кабинет и восхищался: «…комната со всех сторон окружена деревьями, птицы и бабочки свободно летают в ней, зеленые ветви деревьев врываются в открытые окна, цветы наполняют ее своим благоуханьем, а пять больших зеркал, которыми я ее украсил, отражают и трепещущую листву, и поля волнующейся ржи, и белые паруса, скользящие по реке».

В Гадсхилле жизнь Диккенса шла вполне размеренно, все делалось в определенные часы, как он любил. Вставал он обыкновенно рано и все утро проводил за работой, но прежде чем сесть за свой письменный стол, он обходил все комнаты, службы и огород, осматривая, все ли в порядке. В виде отдыха от занятий он совершал длинные прогулки пешком, а когда к нему приезжали, что случалось очень часто, знакомые англичане или американцы, он устраивал экскурсии для осмотра разных замков, соборов и крепостей.

Отношения Диккенса с сыновьями и дочерьми были всегда самые нежные и задушевные. Пока они были детьми, он принимал участие в их забавах, в случае болезни просиживал ночи у их постели, бросал все занятия, чтобы устроить им «туманные картины» или домашний спектакль.

«Когда будете писать мою биографию, не забудьте рассказать, что я делал сегодня ночью!» — обратился он однажды шутя к Форстеру. Оказалось, что его дочери (в то время еще девочки) вздумали выучить отца танцевать польку к балу, который намеревались дать в день рождения старшего брата, и долго заставляли его повторять па. Ночью ему вдруг показалось, что он забыл их урок. Он вскочил с постели и босиком в темной комнате стал упражняться в танцевальном искусстве.

Дом Диккенса всегда был населен разными домашними животными и птицами. У него постоянно жили друзья и питомцы,

как пернатые, так и четвероногие. Нередко бросал он книгу, чтобы доставить удовольствие своему любимому коту, поиграть с ним; в Гадсхилле целое семейство водолазов постоянно сопровождало его во всех прогулках, и, читая те страницы, в которых он с такой любовью, с таким добродушным юмором описывает приятелям все свойства и похождения своих собак, можно подумать, что дело идет о человеческих существах.

Размеренная жизнь в Гадсхилле была приятно прервана празднествами по случаю свадьбы второй дочери Диккенса, Кетти, вышедшей замуж за младшего брата известного романиста Уилки Коллинза — Чарлза Альстона Коллинза, одного из сотрудников «All the Year Round». Множество гостей из Лондона и других городов собралось приветствовать новобрачных, но что было особенно приятно Диккенсу — это участие окрестного сельского населения в его семейной радости. Он всегда жил в самых дружеских отношениях со своими бедными соседями; в случае болезни или несчастья они смело шли к нему за помощью, и теперь решили выразить ему свою благодарность. В качестве сюрприза они украсили всю дорогу от дома до церкви триумфальными арками из зелени и цветов, кузнец добыл где-то две пушечки и встретил брачную процессию веселой канонадой из этих орудий. Никакие публичные овации не трогали Диккенса так сильно, как это искреннее выражение симпатии к нему не как к писателю, а как к частному человеку…

«Страшно подумать, сколько друзей падает вокруг нас, когда мы достигаем среднего возраста, — писал Диккенс. — Страшный серп безжалостно косит окружающее поле, и чувствуешь, что твой собственный колос уже созрел». Этот серп особенно жестоко поражал Диккенса во время пребывания его в Гадсхилле.

В течение четырех лет ему пришлось потерять нескольких близких людей. Вскоре после свадьбы Кетти умер один из его братьев, потом — любимый зять и помощник во всех практических делах, Аустин, потом его мать, и затем двое добрых друзей его — романист Теккерей, которого Диккенс высоко ставил как писателя и искренно любил как человека, и художник Лич, талантливый иллюстратор его произведений. Но всего больше поразила Диккенса смерть его второго сына, юноши, подававшего большие надежды; он только что закончил курс ученья, поступил на военную службу, отправился со своим полком в Индию, но заболел там и, намереваясь вернуться на родину, скончался в калькуттском госпитале. Все эти потери глубоко огорчали Диккенса, но он старался не поддаваться горю и искал забвения или в усиленном труде, или в тех треволнениях, какие доставляли ему его публичные чтения. Внешне он казался

бодрым, но тем сильнее страдала его нервная система. В начале 1865 года Диккенс вдруг почувствовал странную боль в левой ноге, так что принужден был на несколько недель слечь в постель. Болезнь плохо поддавалась лечению, доктора приписывали ее нервному расстройству. Когда романист встал с постели, он оказался хромым, и хромота эта оставалась до конца его жизни.

Вскоре после этого он едва не погиб в железнодорожной катастрофе. Под поездом, на котором он ехал, сломался мост; несколько вагонов свалилось в реку, а тот, в котором он сидел, повис над бездной. В момент катастрофы Диккенс не потерял присутствия духа. Он успокоил своих соседок пассажирок, вылез из окна, помог кондукторам вытащить пассажиров из уцелевших вагонов, ухаживал за ранеными и умиравшими; но ужасное это происшествие произвело на него потрясающее впечатление, которое даже время не могло изгладить. Год спустя он писал: «Путешествие по железной дороге страшно тяжело для меня. У меня беспрестанно появляется ощущение, точно вагон валится на левую сторону, дыханье захватывает, я чувствую дрожь во всем теле, и, странное дело, припадки эти не только не уменьшаются, а скорее усиливаются с течением времени».

И несмотря на эти припадки, несмотря на повторение болей в ноге, на почти постоянную бессонницу и легкие обмороки, вызываемые ослабленной деятельностью сердца, Диккенс ни за что не соглашался отказаться от третьей серии публичных чтений, начатой им с весны 1866 года. Он, может быть, чувствовал, сам того не осознавая, что ему осталось уже мало времени для работы, и спешил воспользоваться этим временем: «Я уверен, что заржавею и ослабею, если стану беречь себя, — возражал он на замечания друзей. — Лучше всего умереть, работая. Таким создала меня природа, таким я всегда жил и до конца не изменю своих привычек».

Литературная деятельность Диккенса не прекращалась во время его жизни в Гадсхилле. С 1859 года он сделался единственным собственником журнала «All the Year Round». Благодаря добросовестным сотрудникам собственно редактирование журнала отнимало у него немного времени, но он постоянно поставлял туда свои произведения. С 1860 года Диккенс начал писать ряд статей под общим названием «Некоммерческий путешественник» («Uncommercial Traveller»), продолжавшийся до последнего года его жизни. Это были мелкие очерки, частью автобиографические, частью почерпнутые из наблюдений, собранных им во время его разнообразных путешествий. Вот как он себя рекомендовал публике: «Я

путешествую по городам и селам, я всегда в пути. В переносном смысле я езжу в интересах обширной фирмы „Братьев Гуманность“ и делаю большие обороты товаром „Фантазия“. В буквальном смысле, я постоянно брожу то по улицам Лондона, то по деревенским проселкам; вижу много мелких вещей и несколько крупных; они мне кажутся интересными, и потому я надеюсь, что они заинтересуют и других». Почти ни один рождественский номер журнала не выходил без его «Сказки», кроме того, он поместил в нем свою «Историю Англии для детей» и два больших романа: «Повесть о двух городах» («Tale of Two Cities») и «Большие ожидания» («Great Expectations»).

С весны 1865 года Диккенс начал печатать отдельными выпусками роман «Наш общий друг» («Our Mutual Friend»). Тяжелые удары судьбы, перенесенные в это время автором, отразились на этом произведении. В нем замечается некоторый недостаток свежести и прежней творческой силы, но автор до конца остается неподражаемым юмористом, красноречивым защитником всего угнетенного и обездоленного. Кукольная швея Дженни Врен может занять место в одном ряду с наиболее симпатичными созданиями автора, а мистер Подснеп — вполне состоявшийся тип.

ГЛАВА X

Второе путешествие в Америку. — Последние публичные чтения. — Болезнь. — «Тайна Эдвина Друда». — Смерть. — Похороны

После путешествия Диккенса по Америке прошло двадцать пять лет. Неприятное впечатление, произведенное на американцев его беспощадными отзывами, давно изгладилось, и он по-прежнему был любимым писателем в Соединенных Штатах. Американские журналы считали для себя за честь, когда он соглашался прислать им какой-нибудь свой рассказец, американские издатели платили громадные деньги за право перепечатывать его произведения из «All the Year Round». Как только он выступил в Англии в качестве публичного чтеца своих произведений, из Америки посыпались приглашения открыть и там ряд чтений. Разные антрепренеры сулили ему громадные выгоды, все знакомые, приезжавшие из Соединенных Штатов, уверяли его, что он будет принят с восторгом. Слава, деньги, далекое путешествие, возможность проверить впечатления молодых лет — все это было так заманчиво для Диккенса, что он едва не принял приглашения американцев еще в 1860 году. Междоусобная война, вспыхнувшая в Соединенных Штатах, удержала его. Но вот война закончилась, приглашения из Америки возобновились с новой настойчивостью, и он не устоял. Напрасно друзья старались отговорить Диккенса, указывая на его расстроенное здоровье, — он не придавал серьезного значения своим болезням и в ноябре 1866 года сел на корабль, который должен был доставить его в Бостон. Несмотря на кажущуюся бодрость, с какой он пускался в путь, Диккенса несколько тревожил прием, ожидавший его: он боялся встретить какие-нибудь неприязненные намеки на старое. Но с первых же шагов по американской земле все эти опасения исчезли бесследно. Везде его встречали еще более радушно, чем в первый раз; его рассказы и романы красовались на окнах всех книжных магазинов; на пароходах, в вагонах, в театре, на улице Диккенс беспрестанно слышал в разговорах цитаты из своих произведений; билеты на его чтения раскупались заранее. «Никакое описание, — говорит он в письме к Форстеру после своего первого чтения в Бостоне, — не может дать Вам понятия о том, как великолепно меня приняли, какой эффект произвело мое

чтение. Сегодня весь город не говорит ни о чем, кроме него. Билеты проданы на все чтения, объявленные здесь и в Нью-Йорке, и хотя проданы они по очень дорогой цене, но все-таки нельзя избавиться от барышников, которые перепродают их еще дороже». В Нью-Йорке касса должна была открыться утром в среду, а во вторник ночью уже два ряда барышников образовали перед нею очередь; в пять часов утра в каждой из двух очередей стояло по восемьсот человек, в восемь часов — более пяти тысяч; к девяти часам очереди тянулись на три четверти мили в длину; платили по пять, десять долларов, чтобы только переменить место и стать поближе к кассе. В Бруклине барышники запаслись соломенными тюфяками, хлебом, водкой и расположились с вечера вокруг кассы. Так как ночь была очень холодная, они вздумали разложить костры среди улицы, застроенной деревянными домами. Полиция стала тушить огонь, произошло настоящее побоище, и им воспользовались находившиеся в задних рядах, чтобы пробраться вперед. Студенты Кембриджского университета жаловались, что их пятьсот человек, и ни один из них не смог достать себе билет, так что Диккенс вынужден был устроить для них отдельное чтение. Энтузиазм в маленьких городах: Буффало, Спрингфилде, Олбани и других — был так же велик, как в больших, нигде не находилось залы достаточно обширной, чтобы вместить всех желающих, всюду Диккенс встречал аудиторию, умевшую понимать и ценить его, внимательных слушателей, готовых плакать при печальных сценах, неудержимо хохотать при комических.

Выражения личной симпатии со стороны граждан Америки глубоко трогали Диккенса: перед Рождеством он нашел у себя в комнате ветвь омелы, нарочно выписанную из Англии, чтобы напомнить ему родину, где в Сочельник этим растением украшают дома. В день рождения он получил несметное количество венков, букетов, цветов. Желание посмотреть на него, пожать ему руку было и на этот раз так же сильно, как двадцать пять лет тому назад, — но Диккенс заметил значительное улучшение в нравах. Люди проявляли менее назойливости, менее нахального любопытства, были сдержаннее, деликатнее.

Зная, что он нездоров, что ему нужен отдых, никто не навязывался к нему со своими посещениями, не приставал с разговорами на улицах или в вагонах. Замечая взгляды, полные участия и любопытства, которые всюду обращались на него, он иногда сам заговаривал со своими спутниками и ясно видел, с какой радостью принималось его приветствие, его рукопожатие.

Утомительный труд при расстроенном здоровье мешал Диккенсу основательно ознакомиться со всеми переменами,

происшедшими в Соединенных Штатах за последние двадцать пять лет, но некоторые из них не ускользнули от его наблюдательности.

Кроме благоприятной перемены во внешнем обращении, он отмечает в своих письмах громадное развитие промышленности, возрастание богатства городов, наряду с появлением нищенствующего пролетариата, и значительное повышение уровня прессы, которая в ведущих своих изданиях стала проявлять более сдержанности, независимости, менее заносчивости, чем прежде. Невольничество было уничтожено, но он с сожалением заметил, как мало проникла в массы идея равенства рас, с какой брезгливостью белые сторонятся черных, отводя им всюду отдельные места — ив вагонах, и в театрах, и в церквях, и даже в тюрьмах.

Опасения друзей, что американские чтения вредно скажутся на здоровье Диккенса, подтвердились. На его несчастье, зима в этом году стояла необыкновенно суровая, он простудился в первый же месяц и до конца своего пребывания в Америке не мог отделаться от сильного кашля и насморка. К этому вскоре присоединились его прежние страдания: боль в ноге, бессонница, обмороки. «Чтения сильно утомляют меня, — писал он из Филадельфии. — Часто, когда я схожу с эстрады, меня должны укладывать на кушетку, и я лежу с четверть часа без движений, как мертвый». «Я совсем ослабел, — говорит он в другом письме. — Климат, расстояния, катар, путешествия и тяжелый труд вредно сказываются на мне. Бессонница убивает меня. Если мне придется остаться здесь до мая, я, кажется, не выдержу». Болезнь заставила его сократить свое пребывание в Америке. Он отказался от намерения посетить западные штаты и Канаду и в начале мая прибыл обратно в Англию. Диккенс дал в разных городах Америки всего семьдесят шесть чтений и выручил, за вычетом всех расходов, двести тысяч рублей чистой прибыли.

Переезд морем и особенно отдых от всяких работ, обусловливаемый им, подействовали в высшей степени благотворно на здоровье Диккенса. Доктор, увидевший его вскоре по возвращении, воскликнул с радостным изумлением: «Боже мой! Да вы помолодели на семь лет!» И сам Диккенс чувствовал себя настолько крепким, что не задумываясь вступил в соглашение со своим прежним антрепренером и обязался дать сто чтений в разных городах Англии с платой по восемьсот рублей за вечер. Вряд ли это желание продолжать утомительную и вредную для здоровья работу вызывалось денежными расчетами. Диккенс никогда не был корыстолюбив, а путешествие в Америку дало ему гораздо больше, чем он надеялся, и он мог считать и себя, и, в

случае своей смерти, детей своих вполне обеспеченными. Роль публичного чтеца привлекала его сама по себе, а не своими выгодами. С одной стороны, она близко соприкасалась с драматическим искусством, к которому Диккенс всегда чувствовал сильное призвание, с другой — ставила его в непосредственные отношения с публикой, с читателем: он ясно, своими глазами видел то впечатление, какое производили его произведения, гул восторженных одобрений тысячной толпы возбуждал его гаснувшую энергию, воочию показывал ему, что недаром прошла жизнь, готовая оставить его…

Начало чтений было назначено на октябрь, но за месяц до их открытия Диккенсу пришлось перестрадать две тяжелые разлуки: младший сын его, семнадцатилетний юноша, унаследовавший от отца беспокойную жажду к путешествиям, уехал в Австралию к своему старшему брату, а недели три спустя умер последний из остававшихся в живых братьев Диккенса.

С самого начала чтений возобновились прежние припадки бессонницы и упадок сил. Несмотря на это, Диккенс читал в течение трех месяцев с прежним успехом в разных городах Англии и Шотландии. В феврале боль в ноге усилилась, и ему пришлось пролежать несколько дней в постели. Отдохнув с неделю, он, несмотря на все просьбы детей и друзей, снова принялся за дело и отправился в Эдинбург. Весь март от него приходили самые успокоительные письма, но в конце апреля появились такие тревожные симптомы, что он сам испугался и выписал к себе своего доктора. Кроме сильной боли в ноге, он чувствовал головокружение, притупленное осязание в левой руке и плохую координацию движений этой руки. Доктор сразу понял, как опасны эти признаки, и не скрывал от родных, что больному грозит паралич или даже смерть. Он запретил ему всякие публичные чтения по крайней мере на год и, не слушая никаких возражений, привез его с собой в Лондон.

Благодаря заботам родных и друзей, здоровье Диккенса опять до некоторой степени восстановилось и, спокойно живя в Гадсхилле, он мог заниматься литературной работой, совершать длинные прогулки с друзьями, принимать участие в скромных празднествах окрестного населения.

Литературной работой, которой занимался Диккенс в последние месяцы, можно сказать последние дни его жизни, был роман «Тайна Эдвина Друда» («Mystery of Edwin Drood»), который должен был выйти в двенадцати выпусках с иллюстрациями. Диккенсу удалось написать только половину романа, и в бумагах его не найдено ни черновых записей, ни заметок, относящихся к последующим главам. Приготовив к печати первые пять выпусков,

он в начале 1870 года переселился на время в Лондон и выпросил у докторов позволение дать двенадцать прощальных чтений. Доктора согласились при условии, чтобы чтения не сопровождались путешествиями по железной дороге и чтобы в неделю происходило не более двух чтений.

Чтения давались в С.-Джемской зале, при громадном стечении публики, в присутствии врача и Форстера, которые с заботливым вниманием следили за чтецом. Восторженное сочувствие публики поддерживало его силы, он читал со своим обычным искусством, и никто не замечал, как дорого обходится ему то наслаждение, какое он доставляет и себе, и другим. Только доктор с тревогой констатировал, что пульс его, бивший в первый вечер семьдесят два удара, дошел в последние шесть вечеров до ста двадцати четырех ударов в минуту; только друзья с грустью замечали, что левая рука его начинает опухать и болеть так же, как нога, что, проходя по улице, он часто не видит и не может прочесть левой стороны вывесок.

На последнем чтении, 12 марта, Диккенс прочел рождественскую сказку и «Процесс Пиквика». Никогда не читал он так хорошо, с таким увлечением, с такой тонкой отделкой всех частностей. Публика слушала его, затаив дыхание, как очарованная. Очарование это превратилось в грустное умиление, когда, закрыв том «Пиквика», Диккенс обратился к ней со словами благодарности и прощанья. По окончании его речи в зале несколько секунд царило гробовое молчание, и затем раздался такой оглушительный взрыв криков и рукоплесканий, что он должен был вернуться на платформу. Бледный, растроганный, улыбался он в последний раз этой тысячной толпе, приветствовавшей в нем и великого художника, и человека с чутким, отзывчивым сердцем.

Последний раз Диккенс говорил публично 30 апреля на торжественном обеде в Королевской академии, где он находился в качестве председателя литературного общества. После этого ему пришлось принять несколько приглашений от разных официальных и неофициальных лиц. Он обедал с Мотлеем, занимавшим в то время место американского посланника, завтракал с Гладстоном, присутствовал на обеде, который лорд Гоутон давал бельгийскому королю и принцу Уэльскому. Только в конце мая вернулся Диккенс в Гадсхилл. Он чувствовал слабость, легкую боль в руке и ноге, но общее состояние его здоровья не внушало особенных опасений ни ему самому, ни его близким. Он немедленно принялся за работу и повел свою обычную размеренную жизнь, не переставая заботиться о разных украшениях своего дома и заменяя пешеходные прогулки

катаньем в экипаже, когда слабость или боль в ноге мешали ему ходить.

8 июня Диккенс провел все утро за письменным столом и против обыкновения после завтрака опять вернулся в свой кабинет. Когда он вышел в столовую к обеду, домашние заметили, что у него больной, расстроенный вид. Он сказал, что чувствует себя не совсем хорошо, но просил, чтобы продолжали обедать. Это были его последние вполне сознательные слова. После этого он пробормотал несколько несвязных фраз, встал, закачался и едва не упал на пол. Мисс Гогард удалось поддержать его и уложить на диван. Тотчас призваны были врачи, но медицинская помощь оказалась бессильной. Больной пролежал целые сутки без сознания, тяжело дыша, и скончался 9 июня 1870 года, пятидесяти восьми лет от роду.

Весть о смерти Диккенса быстро облетела все страны света и вызвала самые горестные чувства во всем цивилизованном мире. В Англии его оплакивали, точно близкого друга или родственника. Королева прислала его семье телеграмму с изъявлением своего глубокого сочувствия; все органы печати без различия партий выражали свою скорбь и уважение к памяти покойного. Газета «Times» первая заявила, что прах любимого писателя должен покоиться в Вестминстерском аббатстве, этой усыпальнице великих людей Англии. Декан аббатства немедленно откликнулся на это желание нации. Затруднение состояло в том, как согласовать публичные почести, связанные с погребением в Вестминстере, с волей покойного, который в своем духовном завещании настоятельно просил, чтобы его похоронили как можно проще и не ставили дорогого памятника на могиле. Чтобы не нарушать воли покойного, тело его доставлено было рано утром со специальным поездом на станцию Чаринг-Кросс, где его ожидала самая простая погребальная колесница. При погребальной службе никто не присутствовал, кроме семьи и близких друзей покойного. Это, впрочем, не помешало почитателям отдать ему последний долг. Весь этот и несколько следующих дней толпы народа приходили поклониться гробу и украсить его цветами.

Через неделю в церкви аббатства совершено было торжественное богослужение в память Диккенса, и доктор Джаует произнес растроганным голосом речь, нашедшую отголосок в сердцах всех присутствовавших. «Тот, кого мы оплакиваем, — сказал он, — был другом человечества, филантропом в истинном значении этого слова, другом детей, другом бедных, врагом угнетения и всякой низости. Он покинул нас, и мы почувствовали, что погас яркий свет, что в мире вдруг стало

темнее».

Тело Диккенса покоится в дубовом гробу, к которому прибита медная дощечка с лаконической надписью: «Чарлз Диккенс родился 7 февраля 1812 года, умер 9 июня 1870 года». Рядом с ним лежат доктор Джонсон и знаменитый актер Гаррик, а в нескольких шагах от него стоят надгробные памятники Чосеру, Шекспиру и Драйдену.

Более двадцати лет[4] прошло со дня его смерти, но и до сих пор благодарные англичане не забывают своего любимого писателя: гробница его часто бывает украшена свежими цветами.

notes

Примечания

1

Публичное распространение сведений, порочащих кого-либо.

2

Из-за проигрыша на бирже *(фр.)*.

3

«Почтение выдающемуся писателю Англии» *(фр.)*.

4

Биография была написана в 1891 году.